

Антон Павлович Чехов

О любви

Оглавление

ОГНИ	2
ДАМА С СОБАЧКОЙ	22
О ЛЮБВИ	32
ВОЛОДЯ.....	37
ГОРЕ	45

ОГНИ

За дверь тревожно залаяла собака. Инженер Ананьев, его помощник студент фон Штенберг и я вышли из барака посмотреть, на кого она лает. Я был гостем в бараке и мог бы не выходить, но, признаться, от выпитого вина у меня немножко кружилась голова, и я рад был подышать свежим воздухом.

— Никого нет... — сказал Ананьев, когда мы вышли. — Что ж ты врешь, Азорка? Дурак!

Кругом не было видно ни души. Дурак Азорка, черный дворовый пес, желая, вероятно, извиниться перед нами за свой напрасный лай, несмело подошел к нам и завилал хвостом. Инженер нагнулся и потрогал его между ушей.

— Что ж ты, тварь, понапрасну лаешь? — сказал он тоном, каким добродушные люди разговаривают с детьми и с собаками. — Нехороший сон увидел, что ли? Вот, доктор, рекомендую вашему вниманию, — сказал он, обращаясь ко мне, — удивительно нервный субъект! Можете себе представить, не выносит одиночества, видит всегда страшные сны и страдает кошмарами, а когда прикрикнешь на него, то с ним делается что-то вроде истерики.

— Да, деликатный пес... — подтвердил студент.

Азорка, должно быть, понял, что разговор идет о нем; он поднял морду и жалобно заскулил, как будто хотел сказать: «Да, временами я невыносимо страдаю, но вы, пожалуйста, извините!»

Ночь была августовская, звездная, но темная. Оттого, что раньше я никогда в жизни не находился при такой исключительной обстановке, в какую попал случайно теперь, эта звездная ночь казалась мне глухой, неприветливой и темнее, чем она была на самом деле. Я был на линии железной дороги, которая еще только строилась. Высокая, наполовину готовая насыпь, кучи песку, глины и щебня, бараки, ямы, разбросанные кое-где тачки, плоские возвышения над землянками, в которых жили рабочие, — весь этот ералаш, выкрашенный потемками в один цвет, придавал земле какую-то странную, дикую физиономию, напоминавшую о временах хаоса. Во всем, что лежало передо мной, было до того мало порядка, что среди безобразно изрытой, ни на что не похожей земли как-то странно было видеть силуэты людей и стройные телеграфные столбы; те и другие портили ансамбль картины и казались не от мира сего. Было тихо, и только слышалось, как над нашими головами, где-то очень высоко, телеграф гудел свою скучную песню.

Мы взобрались на насыпь и с ее высоты взглянули на землю. В саженях пятидесяти от нас, там, где ухабы, ямы и кучи сливались всплошную с ночною мглой, мигал тусклый огонек. За ним светился другой огонь, за этим третий, потом, отступя шагов сто, светились рядом два красных глаза — вероятно, окна какого-нибудь барака — и длинный ряд таких огней, становясь всё гуще и тусклее, тянулся по линии до самого горизонта, потом полукругом поворачивал влево и исчезал в далекой мгле. Огни были неподвижны. В них, в ночной тишине и в унылой песне телеграфа чувствовалось что-то общее. Казалось, какая-то важная тайна была зарыта под насыпью, и о ней знали только огни, ночь и проволоки...

— Экая благодать, Господи! — вздохнул Ананьев. — Столько простора и красоты, что хоть отбавляй! А какова насыпь-то! Это, батенька, не насыпь, а целый Монблан! Миллионы стоит...

Восхищаясь огнями и насыпью, которая стоит миллионы, охмелевший от вина и сентиментально настроенный инженер похлопал по плечу студента фон Штенберга и продолжал в шутовском тоне:

— Что, Михайло Михайлыч, призадумались? Небось, приятно поглядеть на дела рук своих? В прошлом году на этом самом месте была голая степь, человечьим духом не пахло, а теперь поглядите: жизнь, цивилизация! И как всё это хорошо, ей-Богу! Мы с вами железную дорогу строим, а после нас,

этак лет через сто или двести, добрые люди настроят здесь фабрик, школ, больниц и — закипит машина! А?

Студент стоял неподвижно, засунув руки в карманы, и не отрывал глаз от огней. Он не слушал инженера, о чем-то думал и, по-видимому, переживал то настроение, когда не хочется ни говорить, ни слушать. После долгого молчания он обернулся ко мне и сказал тихо:

— Знаете, на что похожи эти бесконечные огни? Они вызывают во мне представление о чем-то давно умершем, жившем тысячи лет тому назад, о чем-то вроде лагеря амалекитян или филистимлян. Точно какой-то ветхозаветный народ расположился станом и ждет утра, чтобы подраться с Саулом или Давидом. Для полноты иллюзии не хватает только трубных звуков, да чтобы на каком-нибудь эфиопском языке перекликивались часовые.

— Пожалуй... — согласился инженер.

И, как нарочно, по линии пробежал ветер и донес звук, похожий на бряцание оружия. Наступило молчание. Не знаю, о чем думали теперь инженер и студент, но мне уж казалось, что я вижу перед собой действительно что-то давно умершее и даже слышу часовых, говорящих на непонятном языке. Воображение мое спешило нарисовать палатки, странных людей, их одежду, доспехи...

— Да, — пробормотал студент в раздумье. — Когда-то на этом свете жили филистимляне и амалекитяне, вели войны, играли роль, а теперь их и след простыл. Так и с нами будет. Теперь мы строим железную дорогу, стоим вот и философствуем, а пройдут тысячи две лет, и от этой насыпи и от всех этих людей, которые теперь спят после тяжелого труда, не останется и пыли. В сущности, это ужасно!

— А вы эти мысли бросьте... — сказал инженер серьезно и наставительно.

— Почему?

— А потому... Такими мыслями следует оканчивать жизнь, а не начинать. Вы еще слишком молоды для них.

— Почему же? — повторил студент.

— Все эти мысли о бренности и ничтожестве, о бесцельности жизни, о неизбежности смерти, о загробных потемках и проч., все эти высокие мысли, говорю я, душа моя, хороши и естественны в старости, когда они являются продуктом долгой внутренней работы, выстраданы и в самом деле составляют умственное богатство; для молодого же мозга, который едва только начинает самостоятельную жизнь, они просто несчастье! Несчастье! — повторил Ананьев и махнул рукой. — По-моему, в ваши годы лучше совсем не иметь головы на плечах, чем мыслить в таком направлении. Я вам, барон, серьезно говорю. И давно уж я собирался поговорить с вами об этом, так как еще с первого дня нашего знакомства заметил в вас пристрастие к этим анафемским мыслям!

— Господи, да почему же они анафемские? — спросил, улыбаясь, студент, и по его голосу и по лицу было заметно, что он отвечает только из простой вежливости и что спор, затеваемый инженером, несколько не интересует его.

Глаза мои слипались. Я мечтал, что тотчас же после прогулки мы пожелаем друг другу покойной ночи и ляжем спать, но мечта моя сбылась не скоро. Когда мы вернулись в барак, инженер убрал пустые бутылки под кровать, достал из большого плетеного ящика две полные и, раскупорив их, сел за свой рабочий стол с очевидным намерением продолжать пить, говорить и работать. Отхлебывая понемножку из стакана, он делал карандашом пометки на каких-то чертежах и продолжал доказывать студенту, что тот мыслит неподобающим образом. Студент сидел рядом с ним, проверял какие-то счета и молчал. Ему, как и мне, не хотелось ни говорить, ни слушать. Я, чтобы не мешать

людям работать и ожидая каждую минуту, что мне предложат лечь в постель, сидел в стороне от стола на походной кривоногой кровати инженера и скучал. Был первый час ночи.

От нечего делать я наблюдал своих новых знакомых. Ни Ананьева, ни студента я никогда не видел раньше и познакомился с ними только в описываемую ночь. Поздно вечером я возвращался верхом с ярмарки к помещику, у которого гостил, попал в потемках не на ту дорогу и заблудился. Кружась около линии и видя, как густеет темная ночь, я вспомнил о «босоногой чугунке», подстерегающей пешего и конного, струсил и постучался в первый попавшийся барак. Тут меня радушно встретили Ананьев и студент. Как это бывает с людьми чужими друг другу, сошедшимися случайно, мы быстро познакомились, подружились и сначала за чаем, потом за вином уже чувствовали себя так, как будто были знакомы целые годы. Через какой-нибудь час я уже знал, кто они и как судьба занесла их из столицы в далекую степь, а они знали, кто я, чем занимаюсь и как мыслю.

Инженер Ананьев, Николай Анастасьевич, был плотен, широк в плечах и, судя по наружности, уже начинал, как Отелло, «опускаться в долину преклонных лет» и излишне полнеть. Он находился в той самой поре, которую свахи называют «мужчина в самом соку», то есть не был ни молод, ни стар, любил хорошо поесть, выпить и похвалить прошлое, слегка задыхался при ходьбе, во сне громко храпел, а в обращении с окружающими проявлял уже то спокойное, невозмутимое добродушие, какое приобретает порядочными людьми, когда они переваливают в штаб-офицерские чины и начинают полнеть. Его голове и бороде далеко еще было до седых волос, но он уж как-то невольно, сам того не замечая, снисходительно величал молодых людей «душа моя» и чувствовал себя как бы вправе добродушно журить их за образ мыслей. Движения его и голос были покойны, плавны, уверенны, как у человека, который отлично знает, что он уже выбился на настоящую дорогу, что у него есть определенное дело, определенный кусок хлеба, определенный взгляд на вещи... Его загорелое, толстоносое лицо и мускулистая шея как бы говорили: «Я сыт, здоров, доволен собой, а придет время, и вы, молодые люди, будете тоже сыты, здоровы и довольны собой...» Одет он был в ситцевую рубаху с косым воротом и в широкие полотняные панталоны, засунутые в большие сапоги. По некоторым мелочам, как, например, по цветному гарусному пояску, вышитому вороту и латочке на локте, я мог догадаться, что он был женат и, по всей вероятности, нежно любим своей женой.

Барон фон Штенберг, Михаил Михайлович, студент института путей сообщения, был молод, лет 23—24. Только одни русые волосы и жидкая бородка, да, пожалуй, еще некоторая грубость и сухость черт лица напоминали о его происхождении от остзейских баронов, всё же остальное — имя, вера, мысли, манеры и выражение лица были у него чисто русские. Одетый так же, как и Ананьев, в ситцевую рубаху навывпуск и в большие сапоги, сутуловатый, давно не стриженный, загорелый, он походил не на студента, не на барона, а на обыкновенного российского подмастерья. Говорил и двигался он мало, вино пил нехотя, без аппетита, счета проверял машинально и всё время, казалось, о чем-то думал. Движения и голос его также были покойны и плавны, но его покой был совсем иного рода, чем у инженера. Загорелое, слегка насмешливое, задумчивое лицо, его глядевшие немножко исподлобья глаза и вся фигура выражали душевное затишье, мозговую лень... Он глядел так, как будто бы для него было решительно всё равно, горит ли перед ним огонь, или нет, вкусно ли вино, или противно, верны ли счета, которые он проверял, или нет... И на его умном, спокойном лице я читал: «Ничего я пока не вижу хорошего ни в определенном деле, ни в определенном куске хлеба, ни в определенном взгляде на вещи. Всё это вздор. Был я в Петербурге, теперь сижу здесь в бараке, отсюда осенью уеду опять в Петербург, потом весной опять сюда... Какой из всего этого выйдет толк, я не знаю, да и никто не знает... Стало быть, и толковать нечего...»

Инженера слушал он без интереса, с тем снисходительным равнодушием, с каким кадеты старших классов слушают расхордившегося добряка-дядьку. Казалось, что всё сказанное инженером было для него не ново и что если бы ему самому было не лень говорить, то он сказал бы нечто более новое и умное. Ананьев же между тем не унимался. Он уж оставил добродушно-шутливый тон и

говорил серьезно, даже с увлечением, которое совсем не шло к его выражению покоя. По-видимому, он был равнодушен к отвлеченным вопросам, любил их, но трактовать их не умел и не привык. И эта непривычка так сильно сказывалась в его речи, что я не сразу понял, чего он хочет.

— Всею душой ненавижу эти мысли! — говорил он. — Я сам был болен ими в юности, теперь еще не совсем избавился от них и скажу вам. — может быть, оттого, что я глуп и что эти мысли были для меня не по коню корм. — они не принесли мне ничего, кроме зла. Это так понятно! Мысли о беспечности жизни, о ничтожестве и бренности видимого мира, соломоновская «суета сует» составляли и составляют до сих пор высшую и конечную ступень в области человеческого мышления. Дошел мыслитель до этой ступени и — стоп машина! Дальше идти некуда. Этим завершается деятельность нормального мозга, что естественно и в порядке вещей. Наше же несчастье в том, что мы начинаем мыслить именно с этого конца. Чем нормальные люди кончают, тем мы начинаем. Мы с первого же абцуга, едва только мозг начинает самостоятельную работу, взбираемся на самую высшую, конечную ступень и знать не хотим тех ступеней, которые ниже.

— Чем же это худо? — спросил студент.

— Да поймите же, что это ненормально! — крикнул Ананьев, поглядев на него почти со злобой. — Если мы нашли способ взбираться на верхнюю ступень без помощи нижних, то уж вся длинная лестница, то есть вся жизнь с ее красками, звуками и мыслями, теряет для нас всякий смысл. Что в ваши годы такое мышление составляет зло и абсурд, вы можете понять из каждого шага вашей разумной, самостоятельной жизни. Положим, что сию вот минуту вы садитесь читать какого-нибудь Дарвина или Шекспира. Едва прочли вы одну страницу, как отравла начинает уж сказываться: и ваша длинная жизнь, и Шекспир, и Дарвин представляются вам вздором, нелепостью, потому что вы знаете, что вы умрете, что Шекспир и Дарвин тоже умерли, что их мысли не спасли ни их самих, ни земли, ни вас, и что если, таким образом, жизнь лишена смысла, то все эти знания, поэзия и высокие мысли являются только ненужной забавой, праздной игрушкой взрослых детей. И вы прекращаете чтение на второй же странице. Теперь, положим, к вам, как к умному человеку, приходят люди и спрашивают вашего мнения, например, хоть о войне: желательна, нравственна она или нет? В ответ на этот страшный вопрос вы только пожмете плечами и ограничитесь каким-нибудь общим местом, потому что для вас, при вашей манере мыслить, решительно всё равно, умрут ли сотни тысяч людей насильственной или же своей смертью: в том и в другом случае результаты одни и те же — прах и забвение. Строим мы с вами железную дорогу. К чему, спрашивается, нам ломать головы, изобретать, возвышаться над шаблоном, жалеть рабочих, красть или не красть, если мы знаем, что эта дорога через две тысячи лет обратится в пыль? И так далее, и так далее... Согласитесь, что при таком несчастном способе мышления невозможен никакой прогресс, ни науки, ни искусства, ни само мышление. Нам кажется, что мы умнее толпы и Шекспира, в сущности же наша мыслительская работа сводится на ничто, так как спускаться на нижние ступени у нас нет охоты, а выше идти некуда, так и стоит наш мозг на точке замерзания — ни тпру, ни ну... Я находился под гнетом этих мыслей около шести лет и, клянусь вам Богом, за всё это время я не прочел ни одной путевой книги, не стал умнее ни на грош и ни на одну букву не обогатил своего нравственного кодекса. Разве это не несчастье? Засим, мало того, что мы сами отравлены, но мы еще вносим отраву в жизнь окружающих нас. Добро бы, мы со своим пессимизмом отказывались от жизни, уходили бы в пещеры или спешили умереть, а то ведь мы, покорные общему закону, живем, чувствуем, любим женщин, воспитываем детей, строим дороги!

— От наших мыслей никому ни тепло, ни холодно... — сказал студент нехотя.

— Нет, уж это вы — ах, оставьте! Вы еще не нюхали, как следует, жизни, а вот как поживете с мое, батенька, так и узнаете кузькину мать! Наше мышление не так невинно, как вы думаете. В практической жизни, в столкновениях с людьми оно ведет только к ужасам и глупостям. Мне приходилось переживать такие положения, каких я злому татарину не пожелаю.

— Например? — спросил я.

— Например? — переспросил инженер; он подумал, улыбнулся и сказал: — Например, взять хоть такой случай. Вернее, это не случай, а целый роман с завязкой и развязкой. Прекраснейший урок! Ах, какой урок!

Он налил вина нам и себе, выпил, погладил ладонями свою широкую грудь и продолжал, обращаясь больше ко мне, чем к студенту:

«Это было летом 187... года, вскоре после войны и по окончании мною курса. Я поехал на Кавказ и остановился проездом дней на пять в приморском городе N. Надо вам сказать, что в этом городе я родился и вырос, а потому нет ничего мудреного, что N. казался мне необыкновенно уютным, теплым и красивым, хотя столичному человеку живется в нем так же скучно и неуютно, как в любой Чухломе или Кашире. С грустью прошелся я мимо гимназии, в которой учился, с грустью погулял по очень знакомому городскому саду, сделал грустную попытку посмотреть поближе людей, которых давно не видел, но помнил... Всё с грустью...

Между прочим, в один из вечеров поехал я в так нарываемый Карантин. Это небольшая, плешивая рощица, в которой когда-то в забытое чумное время в самом деле был карантин, теперь же живут дачники. Ехать к ней приходится от города четыре версты по хорошей, мягкой дороге. Едешь и видишь: налево голубое море, направо бесконечную хмурую степь; дышится легко и глазам не тесно. Сама рощица расположена на берегу моря. Отпустив своего извозчика, я вошел в знакомые ворота и первым делом направился по аллее к небольшой каменной беседке, которую любил в детстве. По моему мнению, эта круглая, тяжелая беседка на неуклюжих колоннах, соединявшая в себе лиризм старого могильного памятника с топорностью Собакевича, была самым поэтическим уголком во всем городе. Она стояла на краю берега, над самой кручей, и с нее отлично было видно море.

Я сел на скамью и, перегнувшись через перила, поглядел вниз. От беседки по крутому, почти отвесному берегу, мимо глиняных глыб и репейника бежала тропинка; там, где она кончалась, далеко внизу у песчаного побережья лениво пенились и нежно мурлыкали невысокие волны. Море было такое же величавое, бесконечное и неприветливое, как семь лет до этого, когда я, кончив курс в гимназии, уезжал из родного города в столицу; вдали темнела полоска дыма — это шел пароход, и, кроме этой едва видимой и неподвижной полоски да мартышек, которые мелькали над водой, ничто не оживляло монотонной картины моря и неба. Направо и налево от беседки тянулись неровные глинистые берега...

Вы знаете, когда грустно настроенный человек остается один на один с морем или вообще с ландшафтом, который кажется ему грандиозным, то почему-то к его грусти всегда примешивается уверенность, что он проживет и погибнет в безвестности, и он рефлексивно хватается за карандаш и спешит записать на чем попало свое имя. Потому-то, вероятно, все одинокие, укромные уголки, вроде моей беседки, всегда бывают испачканы карандашами и изрезаны перочинными ножами. Как теперь помню, оглядывая перила, я прочел: „О. П. (то есть оставил память) Иван Корольков 16 мая 1876 года“. Тут же рядом с Корольковым расписался какой-то местный мечтатель и еще добавил: „На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн“. И почерк у него был мечтательный, вялый, как мокрый шелк. Какой-то Кросс, вероятно, очень маленький и незначительный человек, так сильно прочувствовал свое ничтожество, что дал волю перочинному ножу и изобразил свое имя глубокими, вершковыми буквами. Я машинально достал из кармана карандаш и тоже расписался на одной из колонн. Впрочем, всё это дела не касается... Простите, я не умею рассказывать коротко.

Я грустил и немножко скучал. Скука, тишина и мурлыканье волн мало-помалу навели меня на то самое мышление, о котором мы только что говорили. Тогда, в конце семидесятых годов, оно начинало входить в моду у публики и потом в начале восьмидесятых стало понемногу переходить из публики в литературу, в науку и политику. Мне было тогда не больше 26 лет, но я уж отлично знал, что жизнь беспельна и не имеет смысла, что всё обман и иллюзия, что по существу и результатам

каторжная жизнь на острове Сахалине ничем не отличается от жизни в Ницце, что разница между мозгом Канта и мозгом мухи не имеет существенного значения, что никто на этом свете ни прав, ни виноват, что всё вздор и чепуха и что ну его всё к чёрту! Я жил и как будто делал этим одолжение неведомой силе, заставляющей меня жить: на, мол, смотри, сила, ставлю жизнь ни в грош, а живу! Мыслил я в одном определенном направлении, но на всевозможные лады, и в этом отношении походил на того тонкого гастронома, который из одного картофеля умел готовить сотню вкусных блюд. Несомненно, что я был односторонен и до некоторой степени даже узок, но мне тогда казалось, что мой мыслительный горизонт не имеет ни начала, ни конца и что мысль моя широка, как море. Ну-с, насколько я могу судить по себе, мышление, о котором идет речь, содержит в своей сути что-то втягивающее, наркотическое, как табак или морфий. Оно становится привычкой, потребностью. Каждой минутой одиночества и каждым удобным случаем вы пользуетесь для того, чтобы посласластничать мыслями о бесцельной жизни и загробных потемках. Когда я сидел в беседке, то по аллее чинно прогуливались греческие дети с длинными носами. Я воспользовался сим удобным случаем и, оглянувшись на них, стал думать в таком роде: „К чему, спрашивается, рождаются и живут вот эти самые дети? Есть ли хоть какой-нибудь смысл в их существовании? Вырастут, сами не зная для чего, проживут в этой глуши без всякой надобности и помрут...“

И мне даже стало досадно на этих детей за то, что они чинно ходят и о чем-то солидно разговаривают, как будто в самом деле недешево ценят свои маленькие, бесцветные жизни и знают, для чего живут... Помню, далеко в конце аллеи показались три женские фигуры. Какие-то барышни — одна в розовом платье, две в белом — шли рядом, взявшись под руки, о чем-то говорили и смеялись. Провожая их глазами, я думал: „Хорошо бы теперь от скуки дня на два сойтись тут с какой-нибудь женщиной!“

Я кстати вспомнил, что у своей петербургской барыни в последний раз я был три недели тому назад, и подумал, что мимолетный роман был бы для меня теперь очень кстати. Средняя барышня в белом казалась моложе и красивее своих подруг и, судя по манерам и смеху, была гимназисткой старшего класса. Я не без нечистых мыслей глядел на ее бюст и в то же время думал о ней: „Выучится музыке и манерам, выйдет замуж за какого-нибудь, прости Господи, грека-пиндоса, проживет серо и глупо, без всякой надобности, народит, сама не зная для чего, кучу детей и умрет. Нелепая жизнь!“

Вообще, надо сказать, я был мастером комбинировать свои высокие мысли с самой низменной прозой. Мысли о загробных потемках не мешали мне отдавать должную дань бюстам и ножкам. Нашему милому барону его высокопробные мысли тоже нисколько не мешают ездить по субботам в Вуколовку и совершать там донжуанские набеги. Говоря по совести, насколько я себя помню, отношения мои к женщинам были самые оскорбительные. Теперь вот, вспомнив о гимназистке, я покраснел за свои тогдашние мысли, тогда же совесть моя была совершенно покойна. Я, сын благородных родителей, христианин, получивший высшее образование, по природе не злой и не глупый, не чувствовал ни малейшего беспокойства, когда платил женщинам, как говорят немцы, Blutgeld или когда провожал гимназисток оскорбительными взглядами... Беда в том, что молодость имеет свои права, а наше мышление в принципе ничего не имеет против этих прав, хороши ли они или отвратительны. Кто знает, что жизнь бесцельна и смерть неизбежна, тот очень равнодушен к борьбе с природой и к понятию о грехе: борись или не борись — всё равно умрешь и сгниешь... Во-вторых, судари мои, наше мышление поселяет даже в очень молодых людях так называемую рассудочность. Преобладание рассудка над сердцем у нас подавляющее. Непосредственное чувство, вдохновение — всё заглушено мелочным анализом. Где же рассудочность, там холодность, а холодные люди — нечего греха таить — не знают целомудрия. Эта добродетель знакома только тем, кто тепел, сердечен и способен любить. В-третьих, наше мышление, отрицая смысл жизни, тем самым отрицает и смысл каждой отдельной личности. Понятно, что если я отрицаю личность какой-нибудь Натальи

Степановны, то для меня решительно всё равно, оскорблена она или нет. Сегодня оскорбил ее человеческое достоинство, заплатил ей Blutgeld, а завтра уж и не помнишь о ней.

Итак, я сидел в беседке и наблюдал барышень. На аллее показалась еще одна женская фигура с непокрытой белокурой головой и с белым вязаным платком на плечах. Она погуляла по аллее, потом вошла в беседку и, взявшись за перила, равнодушно поглядела вниз и вдаль на море. Войдя, она не обратила на меня никакого внимания, точно не заметила. Я оглядел ее с ног до головы (но не с головы до ног, как оглядывают мужчин) и нашел, что она молода, не старше 25 лет, миловидна, хорошо сложена, по всей вероятности, уже не барышня и принадлежит к разряду порядочных. Одета она была по-домашнему, но модно и со вкусом, как вообще одеваются в N. все интеллигентные барыни.

„Вот с этой бы сойтись... — подумал я, оглядывая ее красивую талию и руки. — Ничего себе... Должно быть, супруга какого-нибудь эскулапа или учителя гимназии...“

Но сойтись с ней, то есть сделать ее героиней одного из тех экспромтных романов, до которых так падки туристы, было не легко и едва ли возможно. Это почувствовал я, всмотревшись в ее лицо. Она так глядела и имела такое выражение, как будто море, дымок вдали и небо давно уже надоели ей и утомили ее зрение; она, по-видимому, устала, скучала, думала о чем-то невеселом, и на ее лице не было даже того суетного, натянуто-равнодушного выражения, какое бывает почти у всякой женщины, когда она чувствует вблизи себя присутствие незнакомого мужчины.

Блондинка мельком и скучающе взглянула на меня, села на скамью и о чем-то задумалась, и я по ее взгляду понял, что ей не до меня и что я со своею столичной физиономией не возбудил в ней даже простого любопытства. Но я все-таки решил заговорить с ней и спросил:

— Сударыня, позвольте вас спросить, в котором часу уходят отсюда в город линейки?

— Кажется, в десять, или в одиннадцать...

Я поблагодарил. Она взглянула на меня раз-другой, и на ее бесстрастном лице мелькнуло вдруг любопытство, потом что-то похожее на удивление... Я поспешил придать себе равнодушное выражение и принять подобающую позу: клюет! Она, точно ее что-то больно укусило, вдруг поднялась со скамьи, кротко улыбнулась и, торопливо оглядывая меня, спросила робко:

— Послушайте, вы, бывает, не Ананьев?

— Да, я Ананьев... — ответил я.

— А меня вы не узнаете? Нет?

Я немножко смутился, пристально поглядел на нее и, можете себе представить, узнал ее не по лицу, не по фигуре, а по кроткой, усталой улыбке. Это была Наталья Степановна, или, как ее называли, Кисочка, та самая, в которую я был по уши влюблен 7—8 лет назад, когда еще носил гимназический мундир. Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой... Я помню эту Кисочку маленькой, худенькой гимназисточкой 15—16 лет, когда она изображала из себя нечто в гимназическом вкусе, созданное природой специально для платонической любви. Что за прелесть девочка! Бледненькая, хрупкая, легкая, — кажется, дуньте на нее, и она улетит, как пух, под самые небеса — лицо кроткое, недоумевающее, ручки маленькие, волосы длинные до пояса, мягкие, талия тонкая, как у осы, — в общем нечто эфирное, прозрачное, похожее на лунный свет, одним словом, с точки зрения гимназиста, красота неописанная... Я влюблен был в нее — во как! Ночей не спал, стихи писал... Бывало, по вечерам она сидела в городском саду на скамье, а мы, гимназисты, толпились около нее и благоговейно созерцали... В ответ на все наши комплименты, позы и вздохи она нервно пожималась от вечерней сырости, жмурилась да кротко улыбалась, и в это время ужасно походила на маленького хорошенького котеночка; когда мы созерцали ее, всякому из нас приходило желание приласкать ее и погладить, как кошку, — отсюда прозвище Кисочка.

За семь-восемь лет, пока мы не виделись, Кисочка сильно изменилась. Она стала мужественнее, полнее и совсем утратила сходство с мягким, пушистым котенком. Черты ее не то чтобы постарели или поблекли, а как будто потускнели и стали строже, волосы казались короче, рост выше, плечи почти вдвое шире, а главное, на лице было уже выражение материнства и покорности, какое бывает у порядочных женщин в ее годы и какого я раньше, конечно, не видел у нее... Одним словом, от прежнего гимназического и платонического уцелела одна только кроткая улыбка и больше ничего...

Мы разговорились. Узнавши, что я уже инженер, Кисочка ужасно обрадовалась.

— Как это хорошо! — сказала она, радостно заглядывая мне в глаза. — Ах, как хорошо! И какие вы все молодцы! Из всего вашего выпуска нет ни одного неудачника, из всех люди вышли. Один инженер, другой доктор, третий учитель, четвертый, говорят, теперь знаменитый певец в Петербурге... Все, все вы молодцы! Ах, как это хорошо!

В глазах Кисочки светились искренняя радость и доброжелательство. Она любовалась мной, как старшая сестра или бывшая учительница. А я глядел на ее милое лицо и думал: „Хорошо бы сегодня сойтись с ней!“

— Помните, Наталья Степановна, — спросил я, — как я однажды в саду поднес вам букет с записочкой? Вы прочли мою записочку и по вашему лицу разлилось такое недоумение...

— Нет, этого не помню, — сказала она, засмеявшись. — А вот помню, как вы из-за меня хотели вызвать Флоренса на дуэль...

— Ну, а я этого, представьте, не помню...

— Да, что было, то прошло... — вздохнула Кисочка. — Когда-то я у вас была божком, а теперь наступила моя очередь глядеть на всех вас снизу вверх...

Из дальнейшего разговора я узнал, что Кисочка года через два после окончания курса в гимназии вышла замуж за одного местного обывателя, полугрека-полу-русского, служащего не то в банке, не то в страховом обществе и в то же время занимающегося пшеничной торговлей. Фамилия у него была какая-то мудреная, что-то вроде Популаки или Скарандопуло... Чёрт его знает, забыл... Вообще о себе Кисочка говорила мало и неохотно. Разговор шел только обо мне. Она расспрашивала меня об институте, о моих товарищах, о Петербурге, о моих планах, и всё, что я говорил, возбуждало в ней живую радость и восклицание: „Ах, как это хорошо!“

Мы спустились вниз к морю, погуляли по песку, потом, когда с моря повеяло вечерней сыростью, вернулись наверх. Всё время разговор шел обо мне и о прошлом. Гуляли мы до тех пор, пока в окнах дач не стали гаснуть отражения вечерней зари.

— Пойдемте ко мне чай пить, — предложила мне Кисочка. — Должно быть, самовар давно уже на столе... Я дома одна, — сказала она, когда сквозь зелень акаций показалась ее дача. — Муж всегда в городе и возвращается только ночью, да и то не каждый день, и у меня, признаться, такая скука, что просто смерть.

Я шел за ней, любовался ее спиной и плечами. Мне было приятно, что она замужем. Для мимолетных романов замужние представляют более подходящий материал, чем барышни. Приятно также было мне, что ее мужа нет дома... Но в то же время я чувствовал, что роману не быть...

Мы вошли в дом. Комнаты у Кисочки были невелики, с низкими потолками, мебель дачная (а на дачах русский человек любит мебель неудобную, тяжелую, тусклую, которую и выбросить жалко и девать некуда), но по некоторым мелочам все-таки можно было заметить, что Кисочка с супругом жила не бедно и проживала тысяч пять-шесть в год. Помню, посреди комнаты, которую Кисочка назвала столовой, стоял круглый стол почему-то на шести ножках, на нем самовар и чашки, а на краю стола лежали раскрытая книга, карандаш и тетрадка. Я заглянул в книжку и узнал в ней

арифметический задачник Малинина и Буренина. Раскрыта она была, как теперь помню, на „правилах товарищества“.

— Это вы с кем занимаетесь? — спросил я Кисочку.

— Ни с кем... — ответила она. — Это я так... От скуки и от нечего делать, старину вспоминаю, задачи решаю.

— У вас есть дети?

— Был один мальчик, но прожил неделю и умер.

Стали пить чай. Любуясь мной, Кисочка опять заговорила о том, как хорошо, что я инженер, и как она рада моим успехам. И чем больше она говорила и чем искреннее улыбалась, тем сильнее становилась во мне уверенность, что я уеду от нее не солоно хлебавши. Я тогда уже был специалистом по части романов и умел верно взвешивать свои шансы на успех или неуспех. Вы смело можете рассчитывать на успех, если охотитесь на дуру или на такую же искательницу приключений и ощущений, как вы сами, или женщину-пройдоху, для которой вы чужды. Если же вы встречаете женщину неглупую и серьезную, лицо которой выражает усталую покорность и доброжелательство, которая искренно радуется вашему присутствию, а главное — уважает вас, то можете поворачивать назад оглобли. Тут, чтобы иметь успех, нужен более продолжительный срок, чем один день.

А Кисочка при вечернем освещении казалась еще интереснее, чем днем. Она мне нравилась всё больше и больше, я тоже, по-видимому, был симпатичен ей. Да и обстановка была самая подходящая для романа: мужа нет дома, прислуги не видно, кругом тишина... Как ни мало я верил в успех, но все-таки порешил на всякий случай начать атаку. Прежде всего нужно было перейти на фамильярный тон и лирически-серьезное настроение Кисочки сменить на более легкое...

— Давайте, Наталья Степановна, переменим разговор, — начал я. — Поговоримте о чем-нибудь веселом... Прежде всего позвольте мне по старой памяти величать вас Кисочкой.

Она позволила.

— Скажите, пожалуйста, Кисочка, — продолжал я, — какая это муха укусила весь здешний прекрасный пол? Что с ним поделалось? Прежде все были такие нравственные, добродетельные, а теперь, помилуйте, про кого ни спросишь, про всех говорят такое, что просто за человека страшно... Одна барышня с офицером бежала, другая бежала и увлекла с собой гимназиста, третья, барыня, уехала от мужа с актером, четвертая от мужа ушла к офицеру, и так далее, и так далее... Целая эпидемия! Этак, пожалуй, в вашем городе скоро не останется ни одной барышни и ни одной молодой жены!

Я говорил пошлым, заигрывающим тоном. Если бы в ответ мне Кисочка засмеялась, то я продолжал бы в таком роде: „О, смотрите Кисочка, как бы вас здесь не похитил какой-нибудь офицер или актер!“ Она опустила бы глазки и сказала: „Кому придет охота похищать меня такую? Есть помоложе и красивее...“ А я бы ей: „Полноте, Кисочка, да я бы первый с наслаждением похитил вас!“ И так далее в таком роде, и в конце концов дело мое было бы в шляпе. Но в ответ мне Кисочка не засмеялась, а, напротив, сделала серьезное лицо и вздохнула.

— Всё это, что рассказывают, правда... — сказала она. — С актером уехала от мужа моя двоюродная сестра Соня. Конечно, это нехорошо... Каждый человек должен терпеть то, что ему от судьбы положено, но я не осуждаю их и не виню... Обстоятельства бывают иногда сильнее человека!

— Это так, Кисочка, но какие же обстоятельства могли породить целую эпидемию?

— Очень просто и понятно... — сказал Кисочка, поднимая брови. — У нас интеллигентным девушкам и женщинам решительно некуда деваться. Уезжать на курсы или поступать в учительницы,

вообще жить идеями и целями, как мужчины живут, не всякая может. Надо выходить замуж... А за кого прикажете? Вы, мальчики, кончаете курс в гимназии и уезжаете в университет, чтобы больше никогда не возвращаться в родной город, и женитесь в столицах, а девочки остаются!.. За кого же им прикажете выходить? Ну, за неимением порядочных, развитых людей, и выходят Бог знает за кого, за разных маклеров да пиндóсов, которые только и умеют, что пить да в клубе скандалничать... Выходят девушки так, зря... Какая же после этого жизнь? Сами понимаете, женщина образованная и воспитанная живет с глупым, тяжелым человеком; встретится ей какой-нибудь интеллигентный человек, офицер, актер или доктор, ну полюбит, станет ей невыносима жизнь, она и бежит от мужа. И осуждать нельзя!

— Если так, Кисочка, то зачем же замуж идти? — спросил я.

— Конечно, — вздохнула Кисочка, — но ведь каждой девушке кажется, что лучше хоть какой-нибудь муж, чем ничего... Вообще, Николай Анастасьевич, нехорошо здесь живется, очень нехорошо! И в девушках душно, и замужем душно... Вот смеются над Соней за то, что она бежала, да еще с актером, а если бы заглянули ей в душу, то не смеялись бы...»

За дверью опять залаял Азорка. Он злобно огрызнулся на кого-то, потом завыл с тоской и всем телом шархнулся о стену барака... Лицо Ананьева поморщилось от жалости; он прервал свой рассказ и вышел. Минуты две слышно было, как он утешал за дверью собаку: «Хороший пес! Бедный пес!»

— Наш Николай Анастасьич любит поговорить, — сказал фон Штенберг, усмехаясь. — Хороший человек! — добавил он после некоторого молчания.

Вернувшись в барак, инженер подлил вина в наши стаканы и, улыбаясь, поглаживая себя по груди, продолжал:

«Итак, моя атака не удалась. Нечего было делать, я оставил нечистые мысли до более благоприятного случая, помирился со своей неудачей и, что называется, махнул рукой. Мало того, под влиянием Кисочкиного голоса, вечернего воздуха и тишины, я сам мало-помалу впал в тихое, лирическое настроение. Помню, сидел я в кресле у настезь открытого окна и глядел на деревья и темневшее небо. Силуэты акаций и лип были всё те же, что и восемь лет тому назад; так же, как и тогда, во времена детства, где-то далеко брэнчало плохое фортепяно, всё та же была манера у публики бродить по аллеям взад и вперед, но не те были люди. Уж по аллеям ходили не я, не мои товарищи, не предметы моей страсти, а какие-то чужие гимназисты, чужие барышни. И стало мне грустно. А когда на свои расспросы о знакомых я раз пять получил от Кисочки в ответ: „умер“, моя грусть обратилась в чувство, какое испытываешь на панихиде по хорошем человеке. И я, сидя тут у окна, глядя на гуляющую публику и слушая брэнчанье фортепяно, первый раз в жизни собственными глазами увидел, с какою жадностью одно поколение спешит сменить другое и какое роковое значение в жизни человека имеют даже какие-нибудь семь-восемь лет!»

Кисочка поставила на стол бутылку сантуринского. Я выпил, раскис и стал длинно рассказывать о чем-то. Кисочка слушала и по-прежнему любовалась мной и моим умом. А время шло. Небо уже потемнело так, что силуэты акаций и лип слились вместе, публика уже не гуляла по аллеям, фортепяно затихло и только слышался ровный шум моря.

Молодые люди все одинаковы. Приласкайте, приголубьте вы молодого человека, угостите его вином, дайте ему понять, что он интересен, и он рассядется, забудет о том, что ему пора уходить, и будет говорить, говорить, говорить... У хозяев слипаются глаза, им пора уже спать, а он всё сидит и говорит. Так и я. Раз нечаянно взглянул я на часы: было половина одиннадцатого. Я стал прощаться.

— Выпейте на дорожку, — сказала Кисочка.

Я выпил на дорожку, опять заговорил длинно, забыл, что пора уходить, и сел. Но вот слышались мужские голоса, шаги и звяканье шпор. Какие-то люди прошли под окнами и остановились около двери.

— Кажется, муж вернулся... — сказала Кисочка, прислушиваясь.

Дверь шелкнула, голоса раздалась уже в передней, и я видел, как мимо двери, ведущей в столовую, прошли два человека: один — полный, солидный брюнет с горбатым носом и в соломенной шляпе и другой — молодой офицер в белом кителе. Проходя мимо двери, оба они равнодушно и мельком взглянули на меня и Кисочку, и мне показалось, что оба они были пьяны.

— Она, значит, тебе наврала, а ты поверил! — раздался через минуту громкий голос с сильным носовым проносом. — Во-первых, это было не в большом клубе, а в малом.

— Ты, Юпитер, сердисься, стало быть, ты неправ... — сказал другой, смеющийся и кашляющий, очевидно, офицерский голос. — Послушай, мне можно остаться у тебя ночевать? Ты по совести: я тебя не стесню?

— Что за вопрос?! Не только можно, но даже должно. Ты чего хочешь, пива или вина?

Оба сидели через две комнаты от нас, громко говорили и, видимо, не интересовались ни Кисочкой, ни ее гостем. С Кисочкой же, когда вернулся муж, произошла заметная перемена. Она сначала покраснела, потом лицо ее приняло робкое, виноватое выражение; его овладело какое-то беспокойство, и мне стало казаться, что ей совестно показывать мне своего мужа и хочется, чтобы я ушел.

Я начал прощаться. Кисочка проводила меня до крыльца. Я отлично помню ее кроткую, грустную улыбку и ласковые, покорные глаза, когда она мне пожала руку и сказала:

— Вероятно, мы уж больше никогда не увидимся... Ну, дай Бог вам всего хорошего. Спасибо вам!

Ни одного вздоха, ни одной фразы. Прощаясь, она держала в руках свечу; светлые пятна прыгали по ее лицу и шее, точно гоняясь за ее грустной улыбкой; я вообразил себе прежнюю Кисочку, которую, бывало, хотелось погладить, как кошку, пристально поглядел на теперешнюю, припомнились мне почему-то ее слова: „Каждый человек должен терпеть то, что ему от судьбы положено“ — и у меня на душе стало нехорошо. Мое чутье угадало и моя совесть шепнула мне, счастливому и равнодушному, что передо мной стоит хороший, доброжелательный, любящий, но замученный человек...

Я раскланялся и пошел к воротам. Было уже темно. В июле на юге вечера наступают рано и воздух темнеет быстро. К десяти часам бывает уж так темно, что хоть глаз выколи. Пока я почти ощупью добрался до ворот, то сжег десятка два спичек.

— Извозчик! — крикнул я, выйдя за ворота; в ответ мне ни гласа, ни воздыхания... — Извозчик! — повторил я. — Эй! линейки!

Но нет ни извозчиков, ни линейек. Гробовая тишина. Я только слышу, как шумит сонное море и как бьется от сантуринского мое сердце. Поднимаю глаза к небу — там ни одной звезды. Темно и пасмурно. Очевидно, небо покрыто облаками. Я для чего-то пожимаю плечами, глупо улыбаюсь и еще раз, уж не так решительно, зову извозчика.

— Ощ! — отвечает мне эхо.

Пройти пешком четыре версты полем, да еще в потемках — перспектива неприятная. Прежде чем решиться идти пешком, я долго размышляю и зову извозчика, потом пожимаю плечами и без всякой определенной цели лениво возвращаюсь назад в рощу. В роще темно ужасно. Кое-где между

деревьями тускло краснеют окна дачников. Ворона, разбуженная моими шагами и испугавшись спичек, которыми я освещаю свой путь к беседке, перелетает с дерева на дерево и шуршит в листве. Мне и досадно и стыдно, а ворона как будто понимает это и дразнит — кррра! Досадно мне, что придется идти пешком, и стыдно, что у Кисочки я разболтался, как мальчик.

Добрался я до беседки, нащупал скамью и сел. Далеко внизу, за густыми потемками тихо и сердито ворчало море. Помню, я, как слепой, не видел ни моря, ни неба, ни даже беседки, в которой сидел, и мне представлялось уже, что весь этот свет состоит только из мыслей, которые бродят в моей охмелевшей от вина голове, и из невидимой силы, монотонно шумящей где-то внизу. А потом, когда я задремал, мне стало казаться, что шумит не море, а мои мысли, и что весь мир состоит из одного только меня. И, сосредоточив таким образом в себе самом весь мир, я забыл и про извозчиков, и про город, и про Кисочку, и отдался ощущению, которое я так любил. Это — ощущение страшного одиночества, когда вам кажется, что во всей вселенной, темной и бесформенной, существуете только вы один. Ощущение гордое, демоническое, доступное только русским людям, у которых мысли и ощущения так же широки, безграничны и суровы, как их равнины, леса, снега. Если бы я был художником, то непременно изобразил бы выражение лица у русского человека, когда он сидит неподвижно и, подобрав под себя ноги, обняв голову руками, предается этому ощущению... А рядом с этим ощущением мысли о бесцельной жизни, о смерти, загробных потемках... мысли не стоят гроша медного, но выражение лица, должно быть, прекрасно...

Пока я сидел и дремал, не решаясь подняться — мне было тепло и покойно — вдруг среди ровного, однообразного шума моря, как на канве, стали обозначаться звуки, отвлекшие мое внимание от самого себя... Кто-то торопливо шел по аллее. Подойдя к беседке, этот кто-то остановился, всхлипнул, как девочка, и спросил голосом плачущей девочки:

— Боже мой, когда же, наконец, всё это кончится? Господи!

Судя по голосу и по плачу, это была девочка лет 10—12. Она нерешительно вошла в беседку, села и стала вслух не то молиться, не то жаловаться...

— Господи! — говорила она протяжно и плача. — Ведь это же невыносимо! Этого не выдержит никакое терпение! Я терплю, молчу, но ведь, пойми же, и мне жить хочется... Ах, Боже мой, Боже мой!

И всё в таком роде... Мне захотелось взглянуть на девочку и поговорить с ней. Чтобы не испугать ее, я сначала громко вздохнул и кашлянул, потом осторожно чиркнул спичкой... Яркий свет блеснул в потемках и осветил того, кто плакал. Это была Кисочка».

— Чудеса в решете! — вздохнул фон Штенберг. — Черная ночь, шум моря, страдающая она, он с ощущением вселенского одиночества... чёрт знает что! Недостает только черкесов с кинжалами.

— Я рассказываю вам не сказку, а быль.

— Ну, хоть бы и быль... Это всё ни к чему и давно уже известно...

— Погодите презирать, дайте кончить! — сказал Ананьев, досадливо махнув рукой. — Не мешайте, пожалуйста! Я не вам рассказываю, а доктору... «Ну-с, — продолжал он, обращаясь ко мне и искоса поглядывая на студента, который нагнулся к своим счетам и, казалось, был очень доволен тем, что поддразнил инженера. — Ну-с, увидев меня, Кисочка не удивилась и не испугалась, как будто раньше знала, что увидит меня в беседке. Она прерывисто дышала и дрожала всем телом, как в лихорадке, а лицо ее, мокрое от слез, насколько я мог разглядеть, зажигая спичку за спичкой, было уж не прежнее умное, покорное и усталое лицо, а какое-то другое, которое я до сих пор никак не могу понять. Оно не выражало ни боли, ни беспокойства, ни тоски, ничего такого, что выражали ее слова и слезы... Признаюсь, оттого, вероятно, что я не понимал его, оно казалось мне бессмысленным и пьяным.

— Я не могу больше... — забормотала Кисочка голосом плачущей девочки. — Нет моих сил, Николай Анастасьич! Простите, Николай Анастасьич... Я не в состоянии жить так... Уйду в город к матери... Проводите меня... Ради Бога, проводите!

В присутствии плачущих я не умел ни говорить, ни молчать. Я растерялся и в утешение забормотал какой-то вздор.

— Нет, нет, я поеду к матери! — сказала решительно Кисочка, поднимаясь и судорожно хватая меня за руку (руки и рукава у нее были мокры от слез). — Простите, Николай Анастасьич, поеду... Больше не могу...

— Кисочка, но ведь ни одного извозчика нет! — сказал я. — На чем вы поедете?

— Ничего, я пешком пойду... Тут недалеко. А я больше не в состоянии...

Я был смущен, но не растроган. Для меня в слезах Кисочки, в ее дрожи и в тупом выражении лица чувствовалась несерьезная французская или малороссийская мелодрама, где каждый золотник пустого, дешевого горя заливается пудом слез. Я не понимал ее и знал, что не понимаю, мне бы следовало молчать, но почему-то, вероятно, чтобы молчание мое не было понято как глупость, я считал нужным уговаривать ее не ехать к матери и сидеть дома. Плачущие не любят, когда кто видит их слезы. А я зажигал спичку за спичкой и чиркал до тех пор, пока не опустела коробка. К чему мне понадобилась эта невеликодушная иллюминация, до сих пор никак не могу понять. Вообще холодные люди часто бывают неловки и даже глупы.

В конце концов Кисочка взяла меня под руку и мы пошли. Выйдя за ворота, мы повернули вправо и побрели не спеша по мягкой, пыльной дороге. Было темно; когда же глаза мои мало-помалу привыкли к темноте, я стал различать силуэты старых, но тощих дубов и лип, которые росли по сторонам дороги. Скоро направо неясно обозначилась черная полоса неровного, обрывистого берега, пересеченная кое-где небольшими глубокими оврагами и промоинами. Около оврагов ютились невысокие кусты, похожие на сидящих людей. Становилось жутко. Я подозрительно косился на берег и уж шум моря и тишина поля неприятно пугали мое воображение. Кисочка молчала. Она не переставала дрожать и, не пройдя полуверсты, уж ослабела от хольбы и задыхалась. Я тоже молчал.

В версте от Карантина стоит заброшенное четырехэтажное здание с очень высокой трубой, в котором когда-то была паровая мукомольня. Оно стоит одиноко на берегу, и днем его бывает далеко видно с моря и с поля. Оттого, что оно заброшено и что в нем никто не живет, и оттого, что в нем сидит эхо и отчетливо повторяет шаги и голоса прохожих, оно кажется таинственным. И вот представьте меня в темную ночь под руку с женщиной, которая бежит от мужа, около длинной и высокой громадины, повторяющей каждый мой шаг и неподвижно глядящей на меня сотнею своих черных окон. Нормальный молодой человек при такой обстановке ударился бы в романтизм, я же глядел на темные окна и думал: „Всё это внушительно, но придет время, когда и от этого здания, и от Кисочки с ее горем, и от меня с моими мыслями не останется и пыли... Всё вздор и суета...“

Когда мы поравнялись с мукомольней, Кисочка вдруг остановилась, освободила свою руку и заговорила, но уж голосом не девочки, а своим собственным:

— Николай Анастасьич, я знаю, вам всё это кажется странным. Но я страшно несчастна! И представить даже вы себе не можете, как я несчастна! Невозможно представить! Я вам не рассказываю, потому что и рассказывать нельзя... Такая жизнь, такая жизнь...

Кисочка не договорила, стиснула зубы и простонала так, как будто старалась изо всех сил не крикнуть от боли.

— Такая жизнь! — повторила она с ужасом и нараспев, с тем южным, немножко хохлацким акцентом, который, особенно у женщин, придает возбужденной речи характер песни. — Такая жизнь! А, Боже мой, Боже мой, что же это такое? А, Боже мой, Боже мой!

Точно желая разгадать тайну своей жизни, она в недоумении пожимала плечами, качала головой и всплескивала руками. Говорила она, словно пела, двигалась грациозно и красиво и напоминала мне одну знаменитую хохлацкую актрису.

— Господи, да я же как в яме! — продолжала она, ломая руки. — Хоть бы одну минуточку пожить в радости, как люди живут! А, Боже мой, Боже мой! Дожила до такого срама, что при чужом человеке ухожу ночью от мужа, как какая-нибудь беспутная. Чего же еще хорошего можно ждать после этого?

Любуясь ее движениями и голосом, я вдруг стал чувствовать удовольствие от того, что она не в ладах живет с мужем. „Хорошо бы сойтись с ней!“ — мелькнуло у меня в мыслях, и эта безжалостная мысль остановилась в моем мозгу, не покидала меня во всю дорогу и улыбалась мне всё шире и шире...

Пройдя версты полторы от мукомольни, нужно поворачивать к городу влево мимо кладбища. У поворота на углу кладбища стоит каменная ветряная мельница, а возле нее небольшая хатка, в которой живет мельник. Миновали мы мельницу и хатку, повернули влево и дошли до ворот кладбища. Тут Кисочка остановилась и сказала:

— Я вернусь, Николай Анастасьич! Вы идите себе с Богом, а я сама вернусь. Мне не страшно.

— Ну вот еще! — испугался я. — Коли идти — так идти...

— Я напрасно погорячилась... Всё ведь из-за пустяка вышло. Вы своими разговорами напомнили мне прошлое, навели меня на разные мысли... Я была грустна и хотела плакать, а муж при офицере сказал мне дерзость, ну я и не выдержала... И зачем мне идти в город к матери? Разве от этого я стану счастливее? Надо вернуться... А впрочем... пойдемте! — сказала Кисочка и засмеялась. — Всё равно!

Я помнил, что на кладбищенских воротах есть надпись: „Грядет час, в онь же вси сущие во гробех услышат глас Сына Божия“, отлично знал, что рано или поздно настанет время, когда и я, и Кисочка, и ее муж, и офицер в белом кителе будем лежать за оградой под темными деревьями, знал, что рядом со мной идет несчастный, оскорбленный человек, — всё это я сознавал ясно, но в то же время меня волновал тяжелый, неприятный страх, что Кисочка вернется и что я не сумею сказать ей то, что нужно. Никогда в другое время в моей голове мысли высшего порядка не переплетались так тесно с самой низкой, животной прозой, как в эту ночь... Ужасно!

Недалеко от кладбища мы нашли извозчика. Доехав до Большой улицы, где жила Кисочкина мать, мы отпустили извозчика и пошли по тротуару. Кисочка всё время молчала, а я глядел на нее и злился на себя: „Что же ты не начинаешь? Пора!“ В двадцати шагах от гостиницы, где я жил, Кисочка остановилась около фонаря и заплакала.

— Николай Анастасьич! — сказала она, плача, смеясь и глядя мне в лицо мокрыми, блестящими глазами. — Я вашего участия никогда не забуду... Какой вы хороший! И все вы такие молодцы! Честные, великодушные, сердечные, умные... Ах, как это хорошо!

Она видела во мне интеллигентного и передового во всех отношениях человека, и на ее мокром, смеющемся лице, рядом с умилением и восторгом, которые возбуждала в ней моя особа, была написана скорбь, что она редко видит таких людей и что бог не дал ей счастья быть женою одного из них. Она бормотала: „Ах, как это хорошо!“ Детская радость на лице, слезы, кроткая улыбка, мягкие волосы, выбившиеся из-под платка, и самый платок, небрежно накинутый на голову, при свете фонаря напомнили мне прежнюю Кисочку, которую хотелось погладить, как кошку...

Я не выдержал и стал гладить ее волосы, плечи, руки...

— Кисочка, ну что ты хочешь? — забормотал я. — Хочешь, чтобы я с тобой на край света? Я увезу тебя из этой ямы и дам тебе счастье. Я тебя люблю... Поедем, моя прелесть? Да? Хорошо?

По лицу Кисочки разлилось недоумение. Она отступила от фонаря, и, ошеломленная, поглядела на меня большими глазами. Я крепко схватил ее за руку, стал осыпать поцелуями ее лицо, шею, плечи и продолжал клясться и давать обещания. В любовных делах клятвы и обещания составляют почти физиологическую необходимость. Без них не обойдешься. Иной раз знаешь, что лжешь и что обещания не нужны, а все-таки клянешься и обещаешь. Ошеломленная Кисочка всё пятилась назад и глядела на меня большими глазами...

— Не нужно! Не нужно! — забормотала она, отстраняя меня руками.

Я крепко обнял ее. Она вдруг истерично заплакала, и лицо ее приняло такое же бессмысленное, тупое выражение, какое я видел у нее в беседке, когда зажигал спички... Не спрашивая ее согласия, мешая ей говорить, я насильно потащил ее к себе в гостиницу... Она была как в столбняке и не шла, но я взял ее под руку и почти понес... Помню, когда мы поднимались вверх по лестнице, какая-то фигура с красным околышем удивленно поглядела на меня и поклонилась Кисочке...»

Ананьев покраснел и умолк. Он молча прошелся около стола, досадливо почесал себе затылок и несколько раз судорожно пожал плечами и лопатками от холода, который пробежал по его большой спине. Ему уж было стыдно я тяжело вспоминать, и он боролся с собой...

— Нехорошо! — сказал он, выпивая стакан вина и встряхивая головой. — Говорят, что всякий раз во вступительной лекции по женским болезням советуют студентам-медикам, прежде чем раздевать и ощупывать больную женщину, вспоминать, что у каждого из них есть мать, сестра, невеста... Этот совет годился бы не для одних только медиков, но для всех, кому приходится так или иначе сталкиваться в жизни с женщинами. Теперь, когда у меня есть жена и дочка, ах, как я понимаю этот совет! Как понимаю, Боже мой! Однако, слушайте, что дальше... «Ставши моей любовницей, Кисочка взглянула на дело иначе, чем я. Прежде всего она полюбила страстно и глубоко. То, что для меня составляло обыкновенный любовный экспромт, для нее было целым переворотом в жизни. Помню, мне казалось, что она сошла с ума. Счастливая первый раз в жизни, помолодевшая лет на пять, с вдохновенным, восторженным лицом, не зная, куда деваться от счастья, она то смеялась, то плакала и не переставала мечтать вслух о том, как завтра мы поедем на Кавказ, оттуда осенью в Петербург, как будем потом жить...

— А насчет мужа ты не беспокойся! — успокаивала она меня. — Он обязан дать мне развод. Всему городу известно, что он живет со старшей Костович. Мы получим развод и повенчаемся.

Женщины, когда любят, климатизируются и привыкают к людям быстро, как кошки. Побыва Кисочка у меня в номере часа полтора, а уж чувствовала себя в нем, как дома, и распоряжалась моим добром, как своим собственным. Она укладывала в чемодан мои вещи, журила меня за то, что я не вешаю на гвоздь свое новое, дорогое пальто, а бросаю его на стул, как тряпку, и проч.

Я глядел на нее, слушал и чувствовал усталость и досаду. Меня немножко коробило от мысли, что порядочная, честная и страдающая женщина так легко, в какие-нибудь три-четыре часа сделалась любовницей первого встречного. Это уж мне, как порядочному человеку, видите ли, не нравилось. Потом, на меня еще неприятно действовало то, что женщины вроде Кисочки неглубоки и несерьезны, слишком любят жизнь и даже такой в сущности пустяк, как любовь к мужчине, возводят на степень счастья, страдания, жизненного переворота... К тому же теперь, когда я был сыт, мне было досадно на себя, что я сглупил и связался с женщиной, которую поневоле придется обмануть... А я, надо заметить, несмотря на свою беспорядочность, терпеть не мог лгать.

Помню, Кисочка села у моих ног, положила голову мне на колени и, глядя на меня блестящими, любящими глазами, спросила:

— Коля, ты меня любишь? Очень? Очень?

И засмеялась от счастья... Это показалось мне сантиментально, приторно и неумно, а между тем я находился уже в таком настроении, когда во всем искал прежде всего „глубины мысли“.

— Кисочка, ты бы ушла домой, — сказал я, — а то твои родные, чего доброго, хватятся тебя и будут искать по городу. Да и неловко, что ты к матери придешь под утро...

Кисочка согласилась со мной. На прощанье мы условились, что завтра в полдень я увижусь с нею в городском саду, а послезавтра мы вместе поедем в Пятигорск. Я вышел провожать ее на улицу и, помню, нежно и искренно ласкал ее дорогой. Была минута, когда мне вдруг стало невыносимо жаль, что она так беззаветно верит мне, и я порешил было взять ее с собой в Пятигорск, но, вспомнив, что у меня в чемодане только шестьсот рублей и что осенью развязаться с нею будет гораздо трудней, чем теперь, я поспешил заглушить свою жалость.

Мы пришли к дому, где жила Кисочкина мать. Я дернул за звонок. Когда послышались за дверью шаги, Кисочка вдруг сделала серьезное лицо, взглянула на небо и несколько раз торопливо перекрестила меня, как ребенка, потом схватила мою руку и прижала к своим губам.

— До завтра! — проговорила она и исчезла за дверью.

Я перешел на противоположный тротуар и отсюда поглядел на дом. Сначала за окнами было темно, потом в одном из окон мелькнул слабый синеватый огонек только что зажженной свечки; огонек вырос, пустил от себя лучи, и я увидел, как вместе с ним по комнатам задвигались какие-то тени.

„Не ждали!“ — подумал я.

Вернувшись к себе в номер, я разделся, выпил сан-туринского, закусил свежей зернистой икрой, которую купил днем на базаре, не спеша лег в постель и уснул крепким, безмятежным сном туриста.

Утром проснулся я с головною болью и в дурном расположении духа. Что-то беспокоило меня.

„В чем дело? — спрашивал я себя, желая объяснить свое беспокойство. — Что тревожит меня?“

И свое беспокойство я объяснил боязнью, что сейчас, пожалуй, придет ко мне Кисочка, помешает мне уехать и я должен будет лгать и ломаться перед ней. Я быстро оделся, уложил свои вещи и вышел из гостиницы, приказав швейцару доставить мой багаж на вокзал к семи часам вечера. Весь день пробыл я у одного приятеля-доктора, а вечером уж выехал из города. Как видите, мое мышление не помешало мне удариться в подлое, изменническое бегство...

Всё время, пока я сидел у приятеля и ехал потом на вокзал, меня мучило беспокойство. Мне казалось, что я боюсь встречи с Кисочкой и скандала. На вокзале я нарочно просидел в уборной до второго звонка, а когда пробирался к своему вагону, меня давило такое чувство, как будто весь я от головы до ног был обложен краденными вещами. С каким нетерпением и страхом я ждал третьего звонка!

Но вот раздался спасительный третий звонок, поезд тронулся; миновали мы тюрьму, казармы, выехали в поле, а беспокойство, к великому моему удивлению, всё еще не оставляло меня, и всё еще я чувствовал себя вором, которому страстно хочется бежать. Что за странность? Чтобы рассеяться и успокоить себя, я стал глядеть в окно. Поезд шел по берегу. Море было гладко, и в него весело и спокойно гляделось бирюзовое небо, почти наполовину выкрашенное в нежный, золотисто-багряный цвет заката. Кое-где на нем чернели рыбацкие лодочки и плоты. Город чистенький и красивый, как

игрушка, стоял на высоком берегу и уж подергивался вечерним туманом. Золотые главы его церквей, окна и зелень отражали в себе заходившее солнце, горели и таяли, как золото, которое плавится... Запах поля мешался с нежною сыростью, веявшей с моря.

Поезд летел быстро. Слышался смех пассажиров и кондукторов. Всем было весело и легко, а мое непонятное беспокойство всё росло и росло... Я глядел на легкий туман, покрывавший город, и мне представлялось, как в этом тумане около церквей и домов, с бессмысленным, тупым лицом мечется женщина, ищет меня и голосом девочки или нараспев, как хохлацкая актриса, стонет: „А, Боже мой, Боже мой!“ Я вспоминал ее серьезное лицо и большие, озабоченные глаза, когда она вчера крестила меня, как родного, и машинально оглядывал свою руку, которую она вчера целовала.

„Влюблен я, что ли?“ — спрашивал я себя, почесывая руку.

Только с наступлением ночи, когда пассажиры спали и я один на один остался со своею совестью, мне стало понятно то, чего я никак не мог понять раньше. В вагонных сумерках стоял передо мной образ Кисочки, не отходил от меня, и я уже ясно сознавал, что мною совершено зло, равносильное убийству. Меня мучила совесть. Чтобы заглушить это невыносимое чувство, я уверял себя, что всё вздор и суета, что я и Кисочка умрем и сгнием, что ее горе ничто в сравнении со смертью, и так далее и так далее... Что, в конце концов, свободной воли нет и что я, стало быть, не виноват, но все эти доводы только раздражали меня и как-то особенно быстро ступшеывались среди других мыслей. В руке, которую поцеловала Кисочка, было ощущение тоски... Я то ложился, то вставал, пил на станциях водку, насильно ел бутерброды, опять принимался уверять себя, что жизнь не имеет смысла, но ничто не помогало. В моей голове кипела странная и, если хотите, смешная работа. Самые разнообразные мысли в беспорядке громоздились одна на другую, путались, мешали друг другу, а я, мыслитель, уставясь в землю лбом, ничего не понимал и никак не мог ориентироваться в этой куче нужных и ненужных мыслей. Оказалось, что я, мыслитель, не усвоил себе еще даже техники мышления и что распорядиться своей собственной головой я так же не умел, как починять часы. Первый раз в жизни я мыслил усердно и напряженно, и это казалось мне такой диковиной, что я думал: „Я схожу с ума!“ Чей мозг работает не всегда, а только в тяжелые минуты, тому часто приходит мысль о сумасшествии.

Промаялся я таким образом ночь, день, потом еще ночь, и, убедившись, как мало помогает мне мое мышление, я прозрел и понял наконец, что я за птица. Я понял, что мысли мои не стоят гроша медного и что до встречи с Кисочкой я еще не начинал мыслить и даже понятия не имел о том, что значит серьезная мысль; теперь, настрадавшись, я понял, что у меня не было ни убеждений, ни определенного нравственного кодекса, ни сердца, ни рассудка; всё умственное и нравственное богатство мое состояло из специальных знаний, обрывков, ненужных воспоминаний, чужих мыслей — и только, а психические движения мои были несложны, просты и азбучны, как у якута... Если я не любил говорить ложь, не крал, не убивал и вообще не делал очевидно грубых ошибок, то это не в силу своих убеждений, — их у меня не было, — а просто только потому, что я по рукам и ногам был связан нянюшкиными сказками и прописной моралью, которые вошли мне в плоть и кровь и которые незаметно для меня руководили мною в жизни, хотя я и считал их нелепостью...

Я понял, что я не мыслитель, не философ, а просто виртуоз. Бог дал мне здоровый, сильный русский мозг с задатками таланта. И вот представьте себе этот мозг на 26 году жизни, не дрессированный, совершенно свободный от постоа, не обремененный никакою кладью, а только слегка запылившийся кое-какими знаниями по инженерной части; он молод и физиологически алчет работы, ищет ее, и вдруг совершенно случайным путем западает в него извне красивая, сочная мысль о беспельной жизни и загробных потемках. Он жадно втягивает ее в себя, дает в ее распоряжение весь свой простор и начинает играть с нею на всякие лады, как кошка с мышкой. У мозга ни эрудиции, ни системы, но это не беда. Он собственными, природными силами на манер самоучки справляется с

широкой мыслью, и не проходит месяца, как уж обладатель мозга из одного картофеля готовит сотню вкусных блюд и мнит себя мыслителем...

Эту виртуозность, игру в серьезную мысль наше поколение внесло в науку, в литературу, в политику и всюду, куда только оно не ленилось идти, а с виртуозностью вносило оно свой холод, скуку, односторонность и, как мне кажется, уже успело воспитать в массе новое, до сих пор небывалое отношение к серьезной мысли.

Свою ненормальность и круглое невежество я понял и оценил, благодаря несчастью. Нормальное же мое мышление, как мне теперь кажется, началось только с того времени, когда я принялся за азбуку, то есть когда совесть погнала меня назад в N., и я, не мудрствуя лукаво, покаялся перед Кисочкой, вымолил у нее, как мальчишка, прощение и поплакал вместе с ней...»

Ананьев вкратце описал свое последнее свидание с Кисочкой и умолк.

— Тэк-с... — процедил сквозь зубы студент, когда инженер кончил. — Такие-то дела на этом свете!

Лицо его по-прежнему выражало мозговую лень, и, по-видимому, рассказ Ананьева не тронул его нисколько. Только когда инженер, отдохнувши минутку, опять принялся развивать свою мысль и повторять то, что уже было сказано им вначале, студент раздраженно поморщился, встал из-за стола и отошел к своей кровати. Он постлал постель и стал раздеваться.

— У вас теперь такой вид, как будто вы в самом деле кого-нибудь убедили! — сказал он раздраженно.

— Я кого-нибудь убедил? — спросил инженер. — Душа моя, да разве я претендую на это? Бог с вами! Убедить вас невозможно! Дойти до убеждения вы можете только путем личного опыта и страданий!..

— И потом, удивительная логика! — проворчал студент, надевая ночную сорочку. — Мысли, которых вы так не любите, для молодых гибельны, для стариков же, как вы говорите, составляют норму. Точно речь идет о седирах... Откуда эта старческая привилегия? На чем она основана? Уж коли эти мысли — яд, так яд для всех одинаково.

— Э, нет, душа моя, не говорите! — сказал инженер и хитро подмигнул глазом. — Не говорите! Старики, во-первых, не виртуозы. Их пессимизм является к ним не извне, не случайно, а из глубины собственного мозга и уж после того, как они проштудируют всяких Гегелей и Кантов, страдают, наделают тьму ошибок, одним словом, когда пройдут всю лестницу от низу до верху. Их пессимизм имеет за собой и личный опыт, и прочное философское развитие. Во-вторых, у стариков-мыслителей пессимизм составляет не шалтай-болтай, как у нас с вами, а мировую боль, страдание; он у них имеет христианскую подкладку, потому что вытекает из любви к человеку и из мыслей о человеке и совсем лишен того эгоизма, какой замечается у виртуозов. Вы презираете жизнь за то, что ее смысл и цель скрыты именно от вас, и боитесь вы только своей собственной смерти, настоящий же мыслитель страдает, что истина скрыта от всех, и боится за всех людей. Например, тут недалече живет казенный лесничий Иван Александрыч. Хороший такой старичок. Когда-то он где-то был учителем, пописывал что-то, чёрт его знает, кем он был, но только умница замечательная и по части философии собаку съел. Читал он много и теперь постоянно читает. Ну-с, как-то недавно встретились мы с ним на Грузовском участке... А там как раз в это время клали шпалы и рельсы. Работа немудреная, но Ивану Александрычу, как не специалисту, она показалась чем-то вроде фокуса. Для того, чтобы уложить шпалу и фиксировать к ней рельс, опытному мастеру нужно меньше минуты. Рабочие были в духе и работали, действительно, ловко и быстро; особенно один подлец необыкновенно ловко попал молотком в головку гвоздя и вбивал его с одного размаха, а в рукоятке-то молотка чуть ли не сажень

и каждый гвоздь в фут длиною. Иван Александрович долго глядел на рабочих, умилился и сказал мне со слезами на глазах: «Как жаль, что эти замечательные люди умрут!» Такой пессимизм я понимаю...

— Всё это ничего не доказывает и не объясняет, — сказал студент, укрываясь простыней, — и всё это одно только толчение воды в ступе! Никто ничего не знает и ничего нельзя доказать словами.

Он выглянул из-под простыни, приподнял голову и, раздраженно морщась, проговорил быстро:

— Надо быть очень наивным, чтобы верить и придавать решающее значение человеческой речи и логике. Словами можно доказать и опровергнуть всё, что угодно, и скоро люди усовершенствуют технику языка до такой степени, что будут доказывать математически верно, что дважды два — семь. Я люблю слушать и читать, но верить, покорнейше благодарю, я не умею и не хочу. Я поверю одному только Богу, а вам, хоть бы вы говорили мне до второго пришествия и обольстили еще пятьсот Кисочек, я поверю разве только, когда сойду с ума... Спокойной ночи!

Студент спрятал голову под простыню и отвернулся лицом к стенке, желая этим движением дать понять, что он уж не желает ни слушать, ни говорить. На этом и кончился спор.

Прежде чем лечь спать, я и инженер вышли из барака, и я еще раз видел огни.

— Мы утомили вас своей болтовней! — сказал Ананьев, зевая и глядя на небо. — Ну, да что ж, батенька! Только ж удовольствия в этой скучище, что вот вина выпьешь да пофилософствуешь... Экая насыпь, Господи! — умилился он, когда мы подошли к насыпи. — Это не насыпь, а Арарат-гора.

Он помолчал немного и сказал:

— Барону эти огни напоминают амалекитян, а мне кажется, что они похожи на человеческие мысли... Знаете, мысли каждого отдельного человека тоже вот таким образом разбросаны в беспорядке, тянутся куда-то к цели по одной линии, среди потемок, и, ничего не осветив, не прояснив ночи, исчезают где-то — далеко за старостью... Однако, довольно философствовать! Пора бай-бай...

Когда мы вернулись в барак, инженер стал упрашивать меня, чтобы я лег непременно на его кровать.

— Ну, пожалуйста! — говорил он умоляюще, прижимая обе руки к сердцу. — Прошу вас! А насчет меня не беспокойтесь. Я могу спать где угодно, да и еще не скоро лягу... Сделайте такое одолжение!

Я согласился, разделся и лег, а он сел за стол и принялся за чертежи.

— Нашему брату, батенька, некогда спать, — говорил он вполголоса, когда я лег и закрыл глаза. — У кого жена да пара ребят, тому не до сна. Теперь корми и одевай да на будущее припасай. А у меня их двое: сынишка и дочка... У мальчишки-подлеца хорошая рожа... Шести лет еще нет, а способности, доложу я вам, необыкновенные... Тут у меня где-то их карточки были... Эх, деточки мои, деточки!

Он пошарил в бумагах, нашел карточки и стал глядеть на них. Я уснул.

Разбудили меня лай Азорки и громкие голоса. Фон Штенберг, в одном нижнем белье, босой и с включенными волосами, стоял на пороге двери и с кем-то громко разговаривал. Светало... Хмурый, синий рассвет гляделся в дверь, в окна и в щели барака и слабо освещал мою кровать, стол с бумагами и Ананьева. Растянувшись на полу на бурке, выпятив свою мясистую, волосатую грудь и с кожаной подушкой под головой, инженер спал и храпел так громко, что я от души пожалел студента, которому приходится спать с ним каждую ночь.

— С какой же стати мы будем принимать? — кричал фон Штенберг. — Это нас не касается! Поезжай к инженеру Чалисову! От кого это котлы?

— От Никитина... — отвечал угрюмо чей-то бас.

— Ну, так вот и поезжай к Чалисову... Это не по нашей части. Какого ж чёрта стоишь? Поезжай!

— Ваше благородие, мы уж были у господина Чалисова! — сказал бас еще угрюмее. — Вчера цельный день их искали по линии, и в ихнем бараке нам так сказали, что они на Дымковский участок уехали. Примите, сделайте милость! До каких же пор нам возить их? Возим-возим по линии, и конца не видать...

— Что там? — прохрипел Ананьев, просыпаясь и быстро поднимая голову.

— От Никитина котлы привезли, — сказал студент, — и просят, чтобы мы их приняли. А какое нам дело принимать?

— Гоните их в шею!

— Сделайте милость, ваше благородие, доведите до порядка! Лошади два дня не евши и хозяин, чай, серчает. Назад нам везть, что ли? Железная дорога котлы заказывала, стало быть, она и принять должна...

— Да пойми же, дубина, что это не наше дело! Поезжай к Чалисову!

— Что такое? Кто там? — прохрипел опять Ананьев. — А чёрт их возьми совсем, — выбранился он, поднимаясь и идя к двери. — Что такое?

Я оделся и минуты через две вышел из барака. Ананьев и студент, оба в нижнем белье и босые, что-то горячо и нетерпеливо объясняли мужику, который стоял перед ними без шапки и с кнутом в руке и, по-видимому, не понимал их. На лицах обоих была написана самая будничная забота.

— На что мне сдались твои котлы? — кричал Ананьев. — На голову я себе их надену, что ли? Если ты не застал Чалисова, то поищи его помощника, а нас оставь в покое!

Увидев меня, студент, вероятно, вспомнил разговор, который был ночью, и на сонном лице его исчезла забота и показалось выражение мозговой лени. Он махнул рукой на мужика и, о чем-то думая, отошел в сторону.

Утро было пасмурное. По линии, где ночью светились огни, копошились только что проснувшиеся рабочие. Слышались голоса и скрип тачек. Начинался рабочий день. Одна лошаденка в веревочной сбруе уже плелась на насыпь и, изо всех сил вытягивая шею, тащила за собою телегу с песком...

Я стал прощаться... Многое было сказано ночью, но я не увозил с собою ни одного решенного вопроса и от всего разговора теперь утром у меня в памяти, как на фильтре, оставались только огни и образ Кисочки. Севши на лошадь, я в последний раз взглянул на студента и Ананьева, на истеричную собаку с мутными, точно пьяными глазами, на рабочих, мелькавших в утреннем тумане, на насыпь, на лошаденку, вытягивающую шею, и подумал:

«Ничего не разберешь на этом свете!»

А когда я ударил по лошади и поскакал вдоль линии и когда, немного погодя, я видел перед собою только бесконечную, угрюмую равнину и пасмурное, холодное небо, припомнились мне вопросы, которые решались ночью. Я думал, а выжженная солнцем равнина, громадное небо, темневший вдаль дубовый лес и туманная даль как будто говорили мне: «Да, ничего не поймешь на этом свете!»

Стало восходить солнце...

ДАМА С СОБАЧКОЙ

I

Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой. Дмитрий Дмитрич Гуров, проживший в Ялте уже две недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у Верне, он видел, как по набережной прошла молодая дама, невысокого роста блондинка, в берете: за нею бежал белый шпиц.

И потом он встречал ее в городском саду и на сквере по несколько раз в день. Она гуляла одна, всё в том же берете, с белым шпицем; никто не знал, кто она, и называли ее просто так: дама с собачкой.

«Если она здесь без мужа и без знакомых, — соображал Гуров, — то было бы не лишнее познакомиться с ней».

Ему не было еще сорока, но у него была уже дочь двенадцати лет и два сына-гимназиста. Его женили рано, когда он был еще студентом второго курса, и теперь жена казалась в полтора раза старше его. Это была женщина высокая, с темными бровями, прямая, важная, солидная и, как она сама себя называла, мыслящая. Она много читала, не писала в письмах ъ, называла мужа не Дмитрием, а Димитрием, а он втайне считал ее недалекой, узкой, неизящной, боялся ее и не любил бывать дома. Изменять ей он начал уже давно, изменял часто и, вероятно, поэтому о женщинах отзывался почти всегда дурно, и когда в его присутствии говорили о них, то он называл их так:

— Низшая раса!

Ему казалось, что он достаточно научен горьким опытом, чтобы называть их как угодно, но всё же без «низшей расы» он не мог бы прожить и двух дней. В обществе мужчин ему было скучно, не по себе, с ними он был неразговорчив, холоден, но когда находился среди женщин, то чувствовал себя свободно и знал, о чем говорить с ними и как держать себя; и даже молчать с ними ему было легко. В его наружности, в характере, во всей его натуре было что-то привлекательное, неуловимое, что располагало к нему женщин, манило их; он знал об этом, и самого его тоже какая-то сила влекла к ним.

Опыт многократный, в самом деле горький опыт, научил его давно, что всякое сближение, которое вначале так приятно разнообразит жизнь и представляется милым и легким приключением, у порядочных людей, особенно у москвичей, тяжелых на подъем, нерешительных, неизбежно вырастает в целую задачу, сложную чрезвычайно, и положение в конце концов становится тягостным. Но при всякой новой встрече с интересною женщиной этот опыт как-то ускользал из памяти, и хотелось жить, и всё казалось так просто и забавно.

И вот однажды под вечер он обедал в саду, а дама в берете подходила не спеша, чтобы занять соседний стол. Ее выражение, походка, платье, прическа говорили ему, что она из порядочного общества, замужем, в Ялте в первый раз и одна, что ей скучно здесь... В рассказах о нечистоте местных нравов много неправды, он презирал их и знал, что такие рассказы в большинстве сочиняются людьми, которые сами бы охотно грешили, если б умели, но, когда дама села за соседний стол в трех шагах от него, ему вспомнились эти рассказы о легких победах, о поездках в горы, и соблазнительная мысль о скорой, мимолетной связи, о романе с неизвестною женщиной, которой не знаешь по имени и фамилии, вдруг овладела им.

Он ласково поманил к себе шпица и, когда тот подошел, погрозил ему пальцем. Шпиц заворчал. Гуров опять погрозил.

Дама взглянула на него и тотчас же опустила глаза.

— Он не кусается, — сказала она и покраснела.

— Можно дать ему кость? — И когда она утвердительно кивнула головой, он спросил приветливо: — Вы давно изволили приехать в Ялту?

— Дней пять.

— А я уже дотягиваю здесь вторую неделю.

Помолчали немного.

— Время идет быстро, а между тем здесь такая скука! — сказала она, не глядя на него.

— Это только принято говорить, что здесь скучно. Обыватель живет у себя где-нибудь в Белеве или Жиздре — и ему не скучно, а приедет сюда: «Ах, скучно! Ах, пыль!» Подумаешь, что он из Гренады приехал.

Она засмеялась. Потом оба продолжали есть молча, как незнакомые; но после обеда пошли рядом — и начался шуточный, легкий разговор людей свободных, довольных, которым всё равно, куда бы ни идти, о чем ни говорить. Они гуляли и говорили о том, как странно освещено море; вода была сиреневого цвета, такого мягкого и теплого, и по ней от луны шла золотая полоса. Говорили о том, как душно после жаркого дня. Гуров рассказал, что он москвич, по образованию филолог, но служит в банке; готовился когда-то петь в частной опере, но бросил, имеет в Москве два дома... А от нее он узнал, что она выросла в Петербурге, но вышла замуж в С., где живет уже два года, что пробудет она в Ялте еще с месяц и за ней, быть может, приедет ее муж, которому тоже хочется отдохнуть. Она никак не могла объяснить, где служит ее муж, — в губернском правлении или в губернской земской управе, и это ей самой было смешно. И узнал еще Гуров, что ее зовут Анной Сергеевной.

Потом у себя в номере он думал о ней, о том, что завтра она, наверное, встретится с ним. Так должно быть. Ложась спать, он вспомнил, что она еще так недавно была институткой, училась, всё равно как теперь его дочь, вспомнил, сколько еще несмелости, угловатости было в ее смехе, в разговоре с незнакомым, — должно быть, это первый раз в жизни она была одна, в такой обстановке, когда за ней ходят, и на нее смотрят, и говорят с ней только с одной тайною целью, о которой она не может не догадываться. Вспомнил он ее тонкую, слабую шею, красивые, серые глаза.

«Что-то в ней есть жалкое все-таки», — подумал он и стал засыпать.

II

Прошла неделя после знакомства. Был праздничный день. В комнатах было душно, а на улицах вихрем носилась пыль, срывало шляпы. Весь день хотелось пить, и Гуров часто заходил в павильон и предлагал Анне Сергеевне то воды с сиропом, то мороженого. Некуда было деваться.

Вечером, когда немного утихло, они пошли на мол, чтобы посмотреть, как придет пароход. На пристани было много гуляющих; собрались встречать кого-то, держали букеты. И тут отчетливо бросались в глаза две особенности нарядной ялтинской толпы: пожилые дамы были одеты, как молодые, и было много генералов.

По случаю волнения на море пароход пришел поздно, когда уже село солнце, и, прежде чем пристать к молу, долго поворачивался. Анна Сергеевна смотрела в лорнетку на пароход и на пассажиров, как бы отыскивая знакомых, и когда обращалась к Гурову, то глаза у нее блеснули. Она много говорила, и вопросы у нее были отрывисты, и она сама тотчас же забывала, о чем спрашивала; потом потеряла в толпе лорнетку.

Нарядная толпа расходилась, уже не было видно лиц, ветер стих совсем, а Гуров и Анна Сергеевна стояли, точно ожидая, не сойдет ли еще кто с парохода. Анна Сергеевна уже молчала и нюхала цветы, не глядя на Гурова.

— Погода к вечеру стала получше, — сказал он. — Куда же мы теперь пойдем? Не поехать ли нам куда-нибудь?

Она ничего не ответила.

Тогда он пристально поглядел на нее и вдруг обнял ее и поцеловал в губы, и его обдало запахом и влагой цветов, и тотчас же он пугливо огляделся: не видел ли кто?

— Пойдемте к вам... — проговорил он тихо.

И оба пошли быстро.

У нее в номере было душно, пахло духами, которые она купила в японском магазине. Гуров, глядя на нее теперь, думал: «Каких только не бывает в жизни встреч!» От прошлого у него сохранилось воспоминание о беззаботных, добродушных женщинах, веселых от любви, благодарных ему за счастье, хотя бы очень короткое; и о таких, — как, например, его жена, — которые любили без искренности, с излишними разговорами, манерно, с истерией, с таким выражением, как будто то была не любовь, не страсть, а что-то более значительное; и о таких двух-трех, очень красивых, холодных, у которых вдруг промелькало на лице хищное выражение, упрямое желание взять, выхватить у жизни больше, чем она может дать, и это были не первой молодости, капризные, не рассуждающие, властные, не умные женщины, и когда Гуров охладевал к ним, то красота их возбуждала в нем ненависть и кружева на их белье казались ему тогда похожими на чешую.

Но тут всё та же несмелость, угловатость неопытной молодости, неловкое чувство; и было впечатление растерянности, как будто кто вдруг постучал в дверь. Анна Сергеевна, эта «дама с собачкой», к тому, что произошло, отнеслась как-то особенно, очень серьезно, точно к своему падению, — так казалось, и это было странно и некстати. У нее опустились, завяли черты и по сторонам лица печально висели длинные волосы, она задумалась в унылой позе, точно грешница на старинной картине.

— Нехорошо, — сказала она. — Вы же первый меня не уважаете теперь.

На столе в номере был арбуз. Гуров отрезал себе ломоть и стал есть не спеша. Прошло, по крайней мере, полчаса в молчании.

Анна Сергеевна была трогательна, от нее веяло чистотой порядочной, наивной, мало жившей женщины; одинокая свеча, горевшая на столе, едва освещала ее лицо, но было видно, что у нее плохо на душе.

— Отчего бы я мог перестать уважать тебя? — спросил Гуров. — Ты сама не знаешь, что говоришь.

— Пусть Бог меня простит! — сказала она, и глаза у нее наполнились слезами. — Это ужасно.

— Ты точно оправдываешься.

— Чем мне оправдаться? Я дурная, низкая женщина, я себя презираю и об оправдании не думаю. Я не мужа обманула, а самое себя. И не сейчас только, а уже давно обманываю. Мой муж, быть может, честный, хороший человек, но ведь он лакей! Я не знаю, что он делает там, как служит, а знаю только, что он лакей. Мне, когда я вышла за него, было двадцать лет, меня томило любопытство, мне хотелось чего-нибудь получше; ведь есть же, — говорила я себе, — другая жизнь. Хотелось пожить! Пожить и пожить... Любопытство меня жгло... вы этого не понимаете, но, клянусь Богом, я уже не могла владеть собой, со мной что-то делалось, меня нельзя было удержать, я сказала мужу, что больна.

и поехала сюда... И здесь всё ходила, как в угаре, как безумная... и вот я стала пошлой, дрянной женщиной, которую всякий может презирать.

Гурову было уже скучно слушать, его раздражал наивный тон, это покаяние, такое неожиданное и неуместное; если бы не слезы на глазах, то можно было бы подумать, что она шутит или играет роль.

— Я не понимаю, — сказал он тихо, — что же ты хочешь?

Она спрятала лицо у него на груди и прижалась к нему.

— Верьте, верьте мне, умоляю вас... — говорила она, — Я люблю честную, чистую жизнь, а грех мне гадок, я сама не знаю, что делаю. Простые люди говорят: нечистый попутал. И я могу теперь про себя сказать, что меня попутал нечистый.

— Полно, полно... — бормотал он.

Он смотрел ей в неподвижные, испуганные глаза, целовал ее, говорил тихо и ласково, и она понемногу успокоилась, и веселость вернулась к ней; стали оба смеяться.

Потом, когда они вышли, на набережной не было ни души, город со своими кипарисами имел совсем мертвый вид, но море еще шумело и билось о берег; один баркас качался на волнах, и на нем сонно мерцал фонарик.

Нашли извозчика и поехали в Ореанду.

— Я сейчас внизу в передней узнал твою фамилию: на доске написано фон Дидериц, — сказал Гуров. — Твой муж немец?

— Нет, у него, кажется, дед был немец, но сам он православный.

В Ореанде сидели на скамье, недалеко от церкви, смотрели вниз на море и молчали. Ялта была едва видна сквозь утренний туман, на вершинах гор неподвижно стояли белые облака. Листва не шевелилась на деревьях, кричали цикады, и однообразный, глухой шум моря, доносившийся снизу, говорил о покое, о вечном сне, какой ожидает нас. Так шумело внизу, когда еще тут не было ни Ялты, ни Ореанды, теперь шумит и будет шуметь так же равнодушно и глухо, когда нас не будет. И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства. Сидя рядом с молодой женщиной, которая на рассвете казалась такой красивой, успокоенный и очарованный в виду этой сказочной обстановки — моря, гор, облаков, широкого неба, Гуров думал о том, как, в сущности, если вдуматься, всё прекрасно на этом свете, всё, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве.

Подошел какой-то человек — должно быть, сторож, — посмотрел на них и ушел. И эта подробность показалась такой таинственной и тоже красивой. Видно было, как пришел пароход из Феодосии, освещенный утренней зарей, уже без огней.

— Роса на траве, — сказала Анна Сергеевна после молчания.

— Да. Пора домой.

Они вернулись в город.

Потом каждый полдень они встречались на набережной, завтракали вместе, обедали, гуляли, восхищались морем. Она жаловалась, что дурно спит и что у нее тревожно бьется сердце, задавала всё одни и те же вопросы, волнуемая то ревностью, то страхом, что он недостаточно ее уважает. И часто на сквере или в саду, когда вблизи их никого не было, он вдруг привлекал ее к себе и целовал страстно. Совершенная праздность, эти поцелуи среди белого дня, с оглядкой и страхом, как бы кто не увидел, жара, запах моря и постоянное мелькание перед глазами праздных, нарядных, сытых людей точно

переродили его; он говорил Анне Сергеевне о том, как она хороша, как соблазнительна, был нетерпеливо страстен, не отходил от нее ни на шаг, а она часто задумывалась и всё просила его сознаться, что он ее не уважает, несколько не любит, а только видит в ней пошлую женщину. Почти каждый вечер попозже они уезжали куда-нибудь за город, в Ореанду или на водопад; и прогулка удавалась, впечатления неизменно всякий раз были прекрасны, величавы.

Ждали, что приедет муж. Но пришло от него письмо, в котором он извещал, что у него разболелись глаза, и умолял жену поскорее вернуться домой. Анна Сергеевна заторопилась.

— Это хорошо, что я уезжаю, — говорила она Гурову. — Это сама судьба.

Она поехала на лошадях, и он провожал ее. Ехали целый день. Когда она садилась в вагон курьерского поезда и когда пробил второй звонок, она говорила:

— Дайте, я погляжу на вас еще... Погляжу еще раз. Вот так.

Она не плакала, но была грустна, точно больна, и лицо у нее дрожало.

— Я буду о вас думать... вспоминать, — говорила она. — Господь с вами, оставайтесь. Не поминайте лихом. Мы навсегда прощаемся, это так нужно, потому что не следовало бы вовсе встречаться. Ну, Господь с вами.

Поезд ушел быстро, его огни скоро исчезли, и через минуту уже не было слышно шума, точно всё сговорилось нарочно, чтобы прекратить поскорее это сладкое забытьё, это безумие. И, оставшись один на платформе и глядя в темную даль, Гуров слушал крик кузнечиков и гудение телеграфных проволок с таким чувством, как будто только что проснулся. И он думал о том, что вот в его жизни было еще одно похождение или приключение, и оно тоже уже кончилось, и осталось теперь воспоминание... Он был растроган, грустен и испытывал легкое раскаяние; ведь эта молодая женщина, с которой он больше уже никогда не увидится, не была с ним счастлива; он был приветлив с ней и сердечен, но всё же в обращении с ней, в его тоне и ласках сквозила тенью легкая насмешка, грубоватое высокомерие счастливого мужчины, который к тому же почти вдвое старше ее. Всё время она называла его добрым, необыкновенным, возвышенным; очевидно, он казался ей не тем, чем был на самом деле, значит, невольно обманывал ее...

Здесь на станции уже пахло осенью, вечер был прохладный.

«Пора и мне на север, — думал Гуров, уходя с платформы. — Пора!»

III

Дома в Москве уже всё было по-зимнему, топили печи, и по утрам, когда дети собирались в гимназию и пили чай, было темно, и няня ненадолго зажигала огонь. Уже начались морозы. Когда идет первый снег, в первый день езды на санях, приятно видеть белую землю, белые крыши, дышится мягко, славно, и в это время вспоминаются юные годы. У старых лип и берез, белых от инея, добродушное выражение, они ближе к сердцу, чем кипарисы и пальмы, и вблизи них уже не хочется думать о горах и море.

Гуров был москвич, вернулся он в Москву в хороший, морозный день, и когда надел шубу и теплые перчатки и прошелся по Петровке, и когда в субботу вечером услышал звон колоколов, то недавняя поездка и места, в которых он был, утеряли для него всё очарование. Мало-помалу он окунулся в московскую жизнь, уже с жадностью прочитывал по три газеты в день и говорил, что не читает московских газет из принципа. Его уже тянуло в рестораны, клубы, на званые обеды, юбилеи, и уже ему было лестно, что у него бывают известные адвокаты и артисты и что в докторском клубе он играет в карты с профессором. Уже он мог съесть целую порцию селянки на сковородке...

Пройдет какой-нибудь месяц, и Анна Сергеевна, казалось ему, покроется в памяти туманом и только изредка будет сниться с трогательной улыбкой, как снились другие. Но прошло больше месяца, наступила глубокая зима, а в памяти всё было ясно, точно расстался он с Анной Сергеевной только вчера. И воспоминания разгорались всё сильнее. Доносились ли в вечерней тишине в его кабинет голоса детей, приготовлявших уроки, слышал ли он романс или орган в ресторане, или завывала в камине метель, как вдруг воскресало в памяти всё: и то, что было на молу, и раннее утро с туманом на горах, и пароход из Феодосии, и поцелуи. Он долго ходил по комнате и вспоминал, и улыбался, и потом воспоминания переходили в мечты, и прошедшее в воображении мешалось с тем, что будет. Анна Сергеевна не снилась ему, а шла за ним всюду, как тень, и следила за ним. Закрывши глаза, он видел ее, как живую, и она казалась красивее, моложе, нежнее, чем была; и сам он казался себе лучше, чем был тогда, в Ялте. Она по вечерам глядела на него из книжного шкапа, из камина, из угла, он слышал ее дыхание, ласковый шорох ее одежды. На улице он провожал взглядом женщин, искал, нет ли похожей на нее...

И уже томило сильное желание поделиться с кем-нибудь своими воспоминаниями. Но дома нельзя было говорить о своей любви, а вне дома — не с кем. Не с жильцами же и не в банке. И о чем говорить? Разве он любил тогда? Разве было что-нибудь красивое, поэтическое, или поучительное, или просто интересное в его отношениях к Анне Сергеевне? И приходилось говорить неопределенно о любви, о женщинах, и никто не догадывался, в чем дело, и только жена шевелила своими темными бровями и говорила:

— Тебе, Дмитрий, совсем не идет роль фата.

Однажды ночью, выходя из докторского клуба со своим партнером, чиновником, он не удержался и сказал:

— Если б вы знали, с какой очаровательной женщиной я познакомился в Ялте!

Чиновник сел в сани и поехал, но вдруг обернулся и окликнул:

— Дмитрий Дмитрич!

— Что?

— А давеча вы были правы: осетрина-то с душком!

Эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили Гурова, показались ему унижительными, нечистыми. Какие дикие нравы, какие лица! Что за бестолковые ночи, какие неинтересные, незаметные дни! Неистовая игра в карты, обжорство, пьянство, постоянные разговоры всё об одном. Ненужные дела и разговоры всё об одном отхватывают на свою долю лучшую часть времени, лучшие силы, и в конце концов остается какая-то куцая, бескрылая жизнь, какая-то чепуха, и уйти и бежать нельзя, точно сидишь в сумасшедшем доме или в арестантских ротах!

Гуров не спал всю ночь и возмущался и затем весь день провел с головной болью. И в следующие ночи он спал дурно, всё сидел в постели и думал или ходил из угла в угол. Дети ему надоели, банк надоел, не хотелось никуда идти, ни о чем говорить.

В декабре на праздниках он собрался в дорогу и сказал жене, что уезжает в Петербург хлопотать за одного молодого человека, — и уехал в С. Зачем? Он и сам не знал хорошо. Ему хотелось повидаться с Анной Сергеевной и поговорить, устроить свидание, если можно.

Приехал он в С. утром и занял в гостинице лучший номер, где весь пол был обтянут серым солдатским сукном и была на столе чернильница, серая от пыли, со всадником на лошади, у которого была поднята рука со шляпой, а голова отбита. Швейцар дал ему нужные сведения: фон Дидериц живет на Старо-Гончарной улице, в собственном доме — это недалеко от гостиницы, живет хорошо, богато, имеет своих лошадей, его все знают в городе. Швейцар выговаривал так: Дрыдыриц.

Гуров не спеша пошел на Старо-Гончарную, отыскивал дом. Как раз против дома тянулся забор, серый, длинный, с гвоздями.

«От такого забора убежишь», — думал Гуров, поглядывая то на окна, то на забор.

Он соображал: сегодня день неприсутственный, и муж, вероятно, дома. Да и всё равно, было бы бестактно войти в дом и смутить. Если же послать записку, то она, пожалуй, попадет в руки мужу, и тогда всё можно испортить. Лучше всего положиться на случай. И он всё ходил по улице и около забора поджидал этого случая. Он видел, как в ворота вошел нищий и на него напали собаки, потом, час спустя, слышал игру на рояли, и звуки доносились слабые, неясные. Должно быть, Анна Сергеевна играла. Парадная дверь вдруг отворилась, и из нее вышла какая-то старушка, а за нею бежал знакомый белый шпиц. Гуров хотел позвать собаку, но у него вдруг забилось сердце, и он от волнения не мог вспомнить, как зовут шпица.

Он ходил и всё больше и больше ненавидел серый забор, и уже думал с раздражением, что Анна Сергеевна забыла о нем и, быть может, уже развлекается с другим, и это так естественно в положении молодой женщины, которая вынуждена с утра до вечера видеть этот проклятый забор. Он вернулся к себе в номер и долго сидел на диване, не зная, что делать, потом обедал, потом долго спал.

«Как всё это глупо и беспокойно, — думал он, проснувшись и глядя на темные окна; был уже вечер. — Вот и выспался зачем-то. Что же я теперь ночью буду делать?»

Он сидел на постели, покрытой дешевым серым, точно больничным одеялом, и дразнил себя с досадой:

«Вот тебе и дама с собачкой... Вот тебе и приключение... Вот и сиди тут».

Еще утром, на вокзале, ему бросилась в глаза афиша с очень крупными буквами: шла в первый раз «Гейша». Он вспомнил об этом и поехал в театр.

«Очень возможно, что она бывает на первых представлениях», — думал он.

Театр был полон. И тут, как вообще во всех губернских театрах, был туман повыше люстры, шумно беспокоилась галерка; в первом ряду перед началом представления стояли местные франты, заложив руки назад; и тут, в губернаторской ложе, на первом месте сидела губернаторская дочь в боа, а сам губернатор скромно прятался за портьерой, и видны были только его руки; качался занавес, оркестр долго настраивался. Всё время, пока публика входила и занимала места, Гуров жадно искал глазами.

Вошла и Анна Сергеевна. Она села в третьем ряду, и когда Гуров взглянул на нее, то сердце у него сжалось, и он понял ясно, что для него теперь на всем свете нет ближе, дороже и важнее человека; она, затерявшаяся в провинциальной толпе, эта маленькая женщина, ничем не замечательная, с вульгарною лорнеткой в руках, наполняла теперь всю его жизнь, была его горем, радостью, единственным счастьем, какого он теперь желал для себя; и под звуки плохого оркестра, дрянных обывательских скрипок он думал о том, как она хороша. Думал и мечтал.

Вместе с Анной Сергеевной вошел и сел рядом молодой человек с небольшими бакенами, очень высокий, сутулый; он при каждом шаге покачивал головой и, казалось, постоянно кланялся. Вероятно, это был муж, которого она тогда в Ялте, в порыве горького чувства, обозвала лакеем. И в самом деле, в его длинной фигуре, в бакенах, в небольшой лысине было что-то лакейски-скромное, улыбался он сладко, и в петлице у него блестел какой-то ученый значок, точно лакейский номер.

В первом антракте муж ушел курить, она осталась в кресле. Гуров, сидевший тоже в партере, подошел к ней и сказал дрожащим голосом, улыбаясь насильно:

— Здравствуйте.

Она взглянула на него и побледнела, потом еще раз взглянула с ужасом, не веря глазам, и крепко сжала в руках вместе веер и лорнетку, очевидно, борясь с собой, чтобы не упасть в обморок. Оба молчали. Она сидела, он стоял, испуганный ее смущением, не решаясь сесть рядом. Запели настраиваемые скрипки и флейта, стало вдруг страшно, казалось, что из всех лож смотрят. Но вот она встала и быстро пошла к выходу: он — за ней, и оба шли бестолково, по коридорам, по лестницам, то поднимаясь, то опускаясь, и мелькали у них перед глазами какие-то люди в судейских, учительских и удельных мундирах, и всё со значками; мелькали дамы, шубы на вешалках, дул сквозной ветер, обдавая запахом табачных окурков. И Гуров, у которого сильно билось сердце, думал:

«О Господи! И к чему эти люди, этот оркестр...»

И в эту минуту он вдруг вспомнил, как тогда вечером на станции, проводив Анну Сергеевну, говорил себе, что всё кончилось и они уже никогда не увидятся. Но как еще далеко было до конца!

На узкой, мрачной лестнице, где было написано «Ход в амфитеатр», она остановилась.

— Как вы меня испугали! — сказала она, тяжело дыша, всё еще бледная, ошеломленная. — О, как вы меня испугали! Я едва жива. Зачем вы приехали? Зачем?

— Но поймите, Анна, поймите... — проговорил он вполголоса, торопясь. — Умоляю вас, поймите...

Она глядела на него со страхом, с мольбой, с любовью, глядела пристально, чтобы покрепче задержать в памяти его черты.

— Я так страдаю! — продолжала она, не слушая его. — Я всё время думала только о вас, я жила мыслями о вас. И мне хотелось забыть, забыть, но зачем, зачем вы приехали?

Повыше, на площадке, два гимназиста курили и смотрели вниз, но Гурову было всё равно, он привлек к себе Анну Сергеевну и стал целовать ее лицо, щеки, руки.

— Что вы делаете, что вы делаете! — говорила она в ужасе, отстраняя его от себя. — Мы с вами обезумели. Уезжайте сегодня же, уезжайте сейчас... Заклинаю вас всем святым, умоляю... Сюда идут!

По лестнице снизу вверх кто-то шел.

— Вы должны уехать... — продолжала Анна Сергеевна шепотом. — Слышите, Дмитрий Дмитрич? Я приеду к вам в Москву. Я никогда не была счастлива, я теперь несчастна и никогда, никогда не буду счастлива, никогда! Не заставляйте же меня страдать еще больше! Клянусь, я приеду в Москву. А теперь расстанемся! Мой милый, добрый, дорогой мой, расстанемся!

Она пожала ему руку и стала быстро спускаться вниз, всё оглядываясь на него, и по глазам ее было видно, что она в самом деле не была счастлива. Гуров постоял немного, прислушался, потом, когда всё утихло, отыскал свою вешалку и ушел из театра.

IV

И Анна Сергеевна стала приезжать к нему в Москву. Раз в два-три месяца она уезжала из С. и говорила мужу, что едет посоветоваться с профессором насчет своей женской болезни, — и муж верил и не верил. Приехав в Москву, она останавливалась в «Славянском базаре» и тотчас же посылала к Гурову человека в красной шапке. Гуров ходил к ней, и никто в Москве не знал об этом.

Однажды он шел к ней таким образом в зимнее утро (посыльный был у него накануне вечером и не застал). С ним шла его дочь, которую хотелось ему проводить в гимназию, это было по дороге. Валил крупный мокрый снег.

— Теперь три градуса тепла, а между тем идет снег, — говорил Гуров дочери. — Но ведь это тепло только на поверхности земли, в верхних же слоях атмосферы совсем другая температура.

— Папа, а почему зимой не бывает грома?

Он объяснил и это. Он говорил и думал о том, что вот он идет на свидание и ни одна живая душа не знает об этом и, вероятно, никогда не будет знать. У него были две жизни: одна явная, которую видели и знали все, кому это нужно было, полная условной правды и условного обмана, похожая совершенно на жизнь его знакомых и друзей, и другая — протекавшая тайно. И по какому-то странному стечению обстоятельств, быть может, случайному, всё, что было для него важно, интересно, необходимо, в чем он был искренен и не обманывал себя, что составляло зерно его жизни, происходило тайно от других, всё же, что было его ложью, его оболочкой, в которую он прятался, чтобы скрыть правду, как, например, его служба в банке, споры в клубе, его «низшая раса», хождение с женой на юбилей, — всё это было явно. И по себе он судил о других, не верил тому, что видел, и всегда предполагал, что у каждого человека под покровом тайны, как под покровом ночи, проходит его настоящая, самая интересная жизнь. Каждое личное существование держится на тайне, и, быть может, отчасти поэтому культурный человек так нервно хлопочет о том, чтобы уважалась личная тайна.

Проводив дочь в гимназию, Гуров отправился в «Славянский базар». Он снял шубу внизу, поднялся наверх и тихо постучал в дверь. Анна Сергеевна, одетая в его любимое серое платье, утомленная дорогой и ожиданием, поджидала его со вчерашнего вечера; она была бледна, глядела на него и не улыбалась, и едва он вошел, как она уже припала к его груди. Точно они не виделись года два, поцелуй их был долгий, длительный.

— Ну, как живешь там? — спросил он. — Что нового?

— Погоди, сейчас скажу... Не могу.

Она не могла говорить, так как плакала. Отвернулась от него и прижала платок к глазам.

«Ну, пускай поплачет, а я пока посижу», — подумал он и сел в кресло.

Потом он позвонил и сказал, чтобы ему принесли чаю; и потом, когда пил чай, она всё стояла, отвернувшись к окну... Она плакала от волнения, от скорбного сознания, что их жизнь так печально сложилась; они видятся только тайно, скрываются от людей, как воры! Разве жизнь их не разбита?

— Ну, перестань! — сказал он.

Для него было очевидно, что эта их любовь кончится еще не скоро, неизвестно когда. Анна Сергеевна привязывалась к нему всё сильнее, обожала его, и было бы немислимо сказать ей, что всё это должно же иметь когда-нибудь конец; да она бы и не поверила этому.

Он подошел к ней и взял ее за плечи, чтобы приласкать, пошутить, и в это время увидел себя в зеркале.

Голова его уже начинала седеть. И ему показалось странным, что он так постарел за последние годы, так подурнел. Плечи, на которых лежали его руки, были теплы и вздрагивали. Он почувствовал сострадание к этой жизни, еще такой теплой и красивой, но, вероятно, уже близкой к тому, чтобы начать блекнуть и вянуть, как его жизнь. За что она его любит так? Он всегда казался женщинам не тем, кем был, и любили они в нем не его самого, а человека, которого создавало их воображение и которого они в своей жизни жадно искали; и потом, когда замечали свою ошибку, то все-таки любили. И ни одна из них не была с ним счастлива. Время шло, он знакомился, сходил, расставался, но ни разу не любил; было всё что угодно, но только не любовь.

И только теперь, когда у него голова стала седой, он полюбил, как следует, по-настоящему — первый раз в жизни.

Анна Сергеевна и он любили друг друга, как очень близкие, родные люди, как муж и жена, как нежные друзья; им казалось, что сама судьба предназначила их друг для друга, и было непонятно, для чего он женат, а она замужем; и точно это были две перелетные птицы, самец и самка, которых поймали и заставили жить в отдельных клетках. Они простили друг другу то, чего стыдились в своем прошлом, прощали всё в настоящем и чувствовали, что эта их любовь изменила их обоих.

Прежде, в грустные минуты, он успокаивал себя всякими рассуждениями, какие только приходили ему в голову, теперь же ему было не до рассуждений, он чувствовал глубокое сострадание, хотелось быть искренним, нежным...

— Перестань, моя хорошая, — говорил он. — Поплакала — и будет... Теперь давай поговорим, что-нибудь придумаем.

Потом они долго советовались, говорили о том, как избавиться себя от необходимости прятаться, обманывать, жить в разных городах, не видеться подолгу. Как освободиться от этих невыносимых пут?

— Как? Как? — спрашивал он, хватая себя за голову. — Как?

И казалось, что еще немного — и решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко и что самое сложное и трудное только еще начинается.

О ЛЮБВИ

На другой день к завтраку подавали очень вкусные пирожки, раков и бараньи котлеты; и пока ели, приходил наверх повар Никанор справиться, что гости желают к обеду. Это был человек среднего роста, с пухлым лицом и маленькими глазами, бритый, и казалось, что усы у него были не бриты, а выщипаны.

Алехин рассказал, что красивая Пелагея была влюблена в этого повара. Так как он был пьяница и буйного нрава, то она не хотела за него замуж, но соглашалась жить так. Он же был очень набожен, и религиозные убеждения не позволяли ему жить так; он требовал, чтобы она шла за него, и иначе не хотел, и бранил ее, когда бывал пьян, и даже бил. Когда он бывал пьян, она пряталась наверху и рыдала, и тогда Алехин и прислуга не уходили из дому, чтобы защитить ее в случае надобности.

Стали говорить о любви.

- Как зарождается любовь, - сказал Алехин, - почему Пелагея не полюбила кого-нибудь другого, более подходящего к ней по ее душевным и внешним качествам, а полюбила именно Никанора, этого мурло, - тут у нас все зовут его мурлом, - поскольку в любви важны вопросы личного счастья - всё это неизвестно и обо всем этом можно трактовать как угодно. До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что «тайна сия велика есть», всё же остальное, что писали и говорили о любви, было не решением, а только постановкой вопросов, которые так и оставались неразрешенными. То объяснение, которое, казалось бы, годится для одного случая, уже не годится для десяти других, и самое лучшее, по-моему, - это объяснять каждый случай в отдельности, не пытаюсь обобщать. Надо, как говорят доктора, индивидуализировать каждый отдельный случай.

- Совершенно верно, - согласился Буркин.

- Мы, русские, порядочные люди, питаем пристрастие к этим вопросам, остающимся без разрешения. Обыкновенно любовь поэтизируют, украшают ее розами, соловьями, мы же, русские, украшаем нашу любовь этими роковыми вопросами, и притом выбираем из них самые неинтересные. В Москве, когда я еще был студентом, у меня была подруга жизни, милая дама, которая всякий раз, когда я держал ее в объятиях, думала о том, сколько я буду выдавать ей в месяц и почему теперь говядина за фунт. Так и мы, когда любим, то не перестаем задавать себе вопросы: честно это или нечестно, умно или глупо, к чему поведет эта любовь и так далее. Хорошо это или нет, я не знаю, но что это мешает, не удовлетворяет, раздражает - это я знаю.

Было похоже, что он хочет что-то рассказать. У людей, живущих одиноко, всегда бывает на душе что-нибудь такое, что они охотно бы рассказали. В городе холостяки нарочно ходят в баню и в рестораны, чтобы только поговорить, и иногда рассказывают банщикам или официантам очень интересные истории, в деревне же обыкновенно они изливают душу перед своими гостями. Теперь в окна было видно серое небо и деревья, мокрые от дождя, в такую погоду некуда было деваться и ничего больше не оставалось, как только рассказывать и слушать.

- Я живу в Софьине и занимаюсь хозяйством уже давно, - начал Алехин, - с тех пор, как кончил в университете. По воспитанию я белоручка, по наклонностям - кабинетный человек, но на имении, когда я приехал сюда, был большой долг, а так как отец мой задолжал отчасти потому, что много тратил на мое образование, то я решил, что не уеду отсюда и буду работать, пока не уплачу этого долга. Я решил так и начал тут работать, признаюсь, не без некоторого отвращения. Здешняя земля дает не много, и, чтобы сельское хозяйство было не в убыток, нужно пользоваться трудом крепостных или наемных батраков, что почти одно и то же, или же вести свое хозяйство на крестьянский лад, то есть работать в поле самому, со своей семьей. Середины тут нет. Но я тогда не вдавался в такие тонкости. Я не оставлял в покое ни одного клочка земли, я сгонял всех мужиков и баб из соседних

деревень, работа у меня тут кипела неистовая; я сам тоже пахал, сеял, косил и при этом скучал и брезгливо морщился, как деревенская кошка, которая с голоду ест на огороде огурцы; тело мое болело, и я спал на ходу. В первое время мне казалось, что эту рабочую жизнь я могу легко помирить со своими культурными привычками; для этого стоит только, думал я, держаться в жизни известного внешнего порядка. Я поселился тут наверху, в парадных комнатах, и завел так, что после завтрака и обеда мне подавали кофе с ликерами и, ложась спать, я читал на ночь «Вестник Европы». Но как-то пришел наш батюшка, отец Иван, и в один присест выпил все мои ликеры; и «Вестник Европы» пошел тоже к поповнам, так как летом, особенно во время покоса, я не успевал добраться до своей постели и засыпал в сарае в санях или где-нибудь в лесной сторожке - какое уж тут чтение? Я мало-помалу перебрался вниз, стал обедать в людской кухне, и из прежней роскоши у меня осталась только вся эта прислуга, которая еще служила моему отцу и которую уволить мне было бы больно.

В первые же годы меня здесь выбрали в почетные мировые судьи. Кое-когда приходилось наезжать в город и принимать участие в заседаниях съезда и окружного суда, и это меня развлекало. Когда поживешь здесь безвыездно месяца два-три, особенно зимой, то в конце концов начинаешь тосковать по черном сюртуке. А в окружном суде были и сюртуки, и мундиры, и фраки, всё юристы, люди, получившие общее образование; было с кем поговорить. После спанья в санях, после людской кухни сидеть в кресле, в чистом белье, в легких ботинках, с цепью на груди - это такая роскошь!

В городе меня принимали радушно, я охотно знакомился. И из всех знакомств самым основательным и, правду сказать, самым приятным для меня было знакомство с Лугановичем, товарищем председателя окружного суда. Его вы знаете оба: милейшая личность. Это было как раз после знаменитого дела поджигателей; разбирательство продолжалось два дня, мы были утомлены. Луганович посмотрел на меня и сказал:

- Знаете что? Пойдемте ко мне обедать.

Это было неожиданно, так как с Лугановичем я был знаком мало, только официально, и ни разу у него не был. Я только на минутку зашел к себе в номер, чтобы переодеться, и отправился на обед. И тут мне представился случай познакомиться с Анной Алексеевной, женой Лугановича. Тогда она была еще очень молода, не старше двадцати двух лет, и за полгода до того у нее родился первый ребенок. Дело прошлое, и теперь бы я затруднился определить, что, собственно, в ней было такого необыкновенного, что мне так понравилось в ней, тогда же за обедом для меня всё было неотразимо ясно; я видел женщину молодую, прекрасную, добрую, интеллигентную, обаятельную, женщину, какой я раньше никогда не встречал; и сразу я почувствовал в ней существо близкое, уже знакомое, точно это лицо, эти приветливые, умные глаза я видел уже когда-то в детстве, в альбоме, который лежал на комоду у моей матери.

В деле поджигателей обвинили четырех евреев, признали шайку и, по-моему, совсем неосновательно. За обедом я очень волновался, мне было тяжело, и уж не помню, что я говорил, только Анна Алексеевна всё покачивала головой и говорила мужу:

- Дмитрий, как же это так?

Луганович - это добряк, один из тех простодушных людей, которые крепко держатся мнения, что раз человек попал под суд, то, значит, он виноват, и что выразить сомнение в правильности приговора можно не иначе, как в законном порядке, на бумаге, но никак не за обедом и не в частном разговоре.

- Мы с вами не поджигали, - говорил он мягко, - и вот нас же не судят, не сажают в тюрьму.

И оба, муж и жена, старались, чтобы я побольше ел и пил; по некоторым мелочам, по тому, например, как оба они вместе варили кофе, и по тому, как они понимали друг друга с полуслов, я мог заключить, что живут они мирно, благополучно и что они рады гостю. После обеда играли на рояле в

четыре руки, потом стало темно, и я уехал к себе. Это было в начале весны. Затем всё лето провел я в Софьиной безвыездно, и было мне некогда даже подумать о городе, но воспоминание о стройной белокурой женщине оставалось во мне все дни; я не думал о ней, но точно легкая тень ее лежала на моей душе.

Позднюю осень в городе был спектакль с благотворительной целью. Вхожу я в губернаторскую ложу (меня пригласили туда в антракте), смотрю - рядом с губернаторшей Анна Алексеевна, и опять то же самое неотразимое, бьющее впечатление красоты и милых, ласковых глаз, и опять то же чувство близости.

Мы сидели рядом, потом ходили в фойе.

- Вы похудели, - сказала она. - Вы были больны?

- Да. У меня простужено плечо, и в дождливую погоду я дурно сплю.

- У вас вялый вид. Тогда, весной, когда вы приходили обедать, вы были моложе, бодрее. Вы тогда были воодушевлены и много говорили, были очень интересны, и, признаюсь, я даже увлеклась вами немножко. Почему-то часто в течение лета вы приходили мне на память и сегодня, когда я собиралась в театр, мне казалось, что я вас увижу.

И она засмеялась.

- Но сегодня у вас вялый вид, - повторила она. - Это вас старит.

На другой день я завтракал у Лугановичей; после завтрака они поехали к себе на дачу, чтобы распорядиться там насчет зимы, и я с ними. С ними же вернулся в город и в полночь пил у них чай в тихой, семейной обстановке, когда горел камин и молодая мать всё уходила взглянуть, спит ли ее девочка. И после этого в каждый свой приезд я непременно бывал у Лугановичей. Ко мне привыкли, и я привык. Обыкновенно входил я без доклада, как свой человек.

- Кто там? - слышался из дальних комнат протяжный голос, который казался мне таким прекрасным.

- Это Павел Константиныч, - отвечала горничная или няня.

Анна Алексеевна выходила ко мне с озабоченным лицом и всякий раз спрашивала:

- Почему вас так долго не было? Случилось что-нибудь?

Ее взгляд, изящная, благородная рука, которую она подавала мне, ее домашнее платье, прическа, голос, шаги всякий раз производили на меня всё то же впечатление чего-то нового, необыкновенного в моей жизни и важного. Мы беседовали подолгу и подолгу молчали, думая каждый о своем, или же она играла мне на рояле. Если же никого не было дома, то я оставался и ждал, разговаривал с няней, играл с ребенком или же в кабинете лежал на турецком диване и читал газету, а когда Анна Алексеевна возвращалась, то я встречал ее в передней, брал от нее все ее покупки, и почему-то всякий раз эти покупки я нес с такою любовью, с таким торжеством, точно мальчик.

Есть пословица: не было у бабы хлопот, так купила порося. Не было у Лугановичей хлопот, так подружились они со мной. Если я долго не приезжал в город, то, значит, я был болен или что-нибудь случилось со мной, и они оба сильно беспокоились. Они беспокоились, что я, образованный человек, знающий языки, вместо того, чтобы заниматься наукой или литературным трудом, живу в деревне, верчусь как белка в колесе, много работаю, но всегда без гроша. Им казалось, что я страдаю и если я говорю, смеюсь, ем, то только для того, чтобы скрыть свои страдания, и даже в веселые минуты, когда мне было хорошо, я чувствовал на себе их пытливые взгляды. Они были особенно трогательны, когда мне в самом деле приходилось тяжело, когда меня притеснял какой-нибудь кредитор или не хватало

денег для срочного платежа; оба, муж и жена, шептались у окна, потом он подходил ко мне и с серьезным лицом говорил:

- Если вы, Павел Константиныч, в настоящее время нуждаетесь в деньгах, то я и жена просим вас не стесняться и взять у нас.

И уши краснели у него от волнения. А случилось, что точно так же, пошептавшись у окна, он подходил ко мне, с красными ушами, и говорил:

- Я и жена убедительно просим вас принять от нас вот этот подарок.

И подавал запонки, портсигар или лампу, и я за это присылал им из деревни битую птицу, масло и цветы. Кстати сказать, оба они были состоятельные люди. И? первое время я часто брал займы и был не особенно разборчив, брал, где только возможно, но никакие силы не заставили бы меня взять у Лугановичей. Да что говорить об этом!

Я был несчастлив. И дома, и в поле, и в сарае я думал о ней, я старался понять тайну молодой, красивой, умной женщины, которая выходит за неинтересного человека, почти за старика (мужу было больше сорока лет), имеет от него детей, - понять тайну этого неинтересного человека, добряка, простяка, который рассуждает с таким скучным здравомыслием, на балах и вечеринках держится около солидных людей, вялый, ненужный, с покорным, безучастным выражением, точно его привели сюда продавать, который верит, однако, в свое право быть счастливым, иметь от нее детей; и я всё старался понять, почему она встретила именно ему, а не мне, и для чего это нужно было, чтобы в нашей жизни произошла такая ужасная ошибка.

А приезжая в город, я всякий раз по ее глазам видел, что она ждала меня; и она сама признавалась мне, что еще с утра у нее было какое-то особенное чувство, она угадывала, что я приеду. Мы подолгу говорили, молчали, но мы не признавались друг другу в нашей любви и скрывали ее робко, ревниво. Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим. Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с нею; мне казалось невероятным, что эта моя тихая, грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа, детей, всего этого дома, где меня так любили и где мне так верили. Честно ли это? Она пошла бы за мной, но куда? Куда бы я мог увести ее? Другое дело, если бы у меня была красивая, интересная жизнь, если б я, например, боролся за освобождение родины или был знаменитым ученым, артистом, художником, а то ведь из одной обычной, будничной обстановки пришлось бы увлечь ее в другую такую же или еще более будничную. И как бы долго продолжалось наше счастье? Что было бы с ней в случае моей болезни, смерти или просто если бы мы разлюбили друг друга?

И она, по-видимому, рассуждала подобным же образом. Она думала о муже, о детях, о своей матери, которая любила ее мужа, как сына. Если б она отдалась своему чувству, то пришлось бы лгать или говорить правду, а в ее положении то и другое было бы одинаково страшно и неудобно. И ее мучил вопрос: принесет ли мне счастье ее любовь, не осложнит ли она моей жизни, и без того тяжелой, полной всяких несчастий? Ей казалось, что она уже недостаточно молода для меня, недостаточно трудолюбива и энергична, чтобы начать новую жизнь, и она часто говорила с мужем о том, что мне нужно жениться на умной, достойной девушке, которая была бы хорошей хозяйкой, помощницей, - и тотчас же добавляла, что во всем городе едва ли найдется такая девушка.

Между тем годы шли. У Анны Алексеевны было уже двое детей. Когда я приходил к Лугановичам, прислуга улыбалась приветливо, дети кричали, что пришел дядя Павел Константиныч, и вешались мне на шею; все радовались. Не понимали, что делалось в моей душе, и думали, что я тоже радуюсь. Все видели во мне благородное существо. И взрослые и дети чувствовали, что по комнате ходит благородное существо, и это вносило в их отношения ко мне какую-то особую прелесть, точно

в моем присутствии и их жизнь была чище и красивее. Я и Анна Алексеевна ходили вместе в театр, всякий раз пешком; мы сидели в креслах рядом, плечи наши касались, я молча брал из ее рук бинокль и в это время чувствовал, что она близка мне, что она моя, что нам нельзя друг без друга, но, по какому-то странному недоразумению, выйдя из театра, мы всякий раз прощались и расходились, как чужие. В городе уже говорили о нас Бог знает что, но из всего, что говорили, не было ни одного слова правды.

В последние годы Анна Алексеевна стала чаще уезжать то к матери, то к сестре; у нее уже бывало дурное настроение, являлось сознание неудовлетворенной, испорченной жизни, когда не хотелось видеть ни мужа, ни детей. Она уже лечилась от расстройства нервов.

Мы молчали и всё молчали, а при посторонних она испытывала какое-то странное раздражение против меня; о чем бы я ни говорил, она не соглашалась со мной, и если я спорил, то она принимала сторону моего противника. Когда я ронял что-нибудь, то она говорила холодно:

- Поздравляю вас.

Если, идя с ней в театр, я забывал взять бинокль, то потом она говорила:

- Я так и знала, что вы забудете.

К счастью или к несчастью, в нашей жизни не бывает ничего, что не кончалось бы рано или поздно. Наступило время разлуки, так как Лугановича назначили председателем в одной из западных губерний. Нужно было продавать мебель, лошадей, дачу. Когда ездили на дачу и потом возвращались и оглядывались, чтобы в последний раз взглянуть на сад, на зеленую крышу, то было всем грустно, и я понимал, что пришла пора прощаться не с одной только дачей. Было решено, что в конце августа мы проводим Анну Алексеевну в Крым, куда посылали ее доктора, а немного погодя уедет Луганович с детьми в свою западную губернию.

Мы провожали Анну Алексеевну большой толпой. Когда она уже простилась с мужем и детьми и до третьего звонка оставалось одно мгновение, я вбежал к ней в купе, чтобы положить на полку одну из ее корзинок, которую она едва не забыла; и нужно было проститься. Когда тут, в купе, взгляды наши встретились, душевные силы оставили нас обоих, я обнял ее, она прижалась лицом к моей груди, и слезы потекли из глаз; целуя ее лицо, плечи, руки, мокрые от слез, - о, как мы были с ней несчастны! - я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как ненужно, мелко и как обманчиво было всё то, что нам мешало любить. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе.

Я поцеловал в последний раз, пожал руку, и мы расстались - навсегда. Поезд уже шел. Я сел в соседнем купе, - оно было пусто, - и до первой станции сидел тут и плакал. Потом пошел к себе в Софьино пешком...

Пока Алехин рассказывал, дождь перестал и выглянуло солнце. Буркин и Иван Иваныч вышли на балкон; отсюда был прекрасный вид на сад и на плес, который теперь на солнце блестел, как зеркало. Они любовались и в то же время жалели, что этот человек с добрыми, умными глазами, который рассказывал им с таким чистосердечием, в самом деле вертелся здесь, в этом громадном имени, как белка в колесе, а не занимался наукой или чем-нибудь другим, что делало бы его жизнь более приятной; и они думали о том, какое, должно быть, скорбное лицо было у молодой дамы, когда он прощался с ней в купе и целовал ей лицо и плечи. Оба они встречали ее в городе, а Буркин был даже знаком с ней и находил ее красивой

ВОЛОДЯ

В одно из летних воскресений, часов в пять вечера, Володя, семнадцатилетний юноша, некрасивый, болезненный и робкий, сидел в беседке на даче у Шумихиных и скучал. Его невеселые мысли текли по трем направлениям. Во-первых, назавтра, в понедельник, ему предстояло держать экзамен по математике; он знал, что если завтра ему не удастся решить письменную задачу, то его исключат, так как сидел он в шестом классе два года и имел годовую отметку по алгебре 2 3/4. Во-вторых, его пребывание у Шумихиных, людей богатых и претендующих на аристократизм, причиняло постоянную боль его самолюбию. Ему казалось, что т-те Шумихина и ее племянницы глядят на него и его татап, как на бедных родственников и приживалов, что они не уважают татап и смеются над ней. Раз он нечаянно подслушал, как т-те Шумихина говорила на террасе своей кухне Анне Федоровне, что его татап продолжает еще молодиться и наводит на себя красоту, что она никогда не платит проигрыша и имеет пристрастие к чужим ботинкам и к чужому табаку. Каждый день Володя умолял татап не ездить к Шумихиным, описывал ей, какую обидную роль играет она у этих господ, убеждал, говорил дерзости, но та, легкомысленная, избалованная, прожившая на своем веку два состояния - свое и мужнино, всегда тяготеющая к высшему обществу, не понимала его, и Володя два в неделю должен был провожать ее на ненавистную дачу.

В-третьих, юноша ни на минуту не мог отделаться от странного, неприятного чувства, которое было для него совершенно ново... Ему казалось, что он был влюблен в кузину и гостью Шумихиной, Анну Федоровну. Это была подвижная, голосистая и смешливая барынька, лет тридцати, здоровая, крепкая, розовая, с круглыми плечами, круглым жирным подбородком и с постоянной улыбкой на тонких губах. Она была некрасива и не молода - Володя отлично знал это, но почему-то он был не в силах не думать о ней, не глядеть на нее, когда она, играя в крокет, пожимала своими круглыми плечами и двигала гладкой спиной или же после долгого смеха и беготни по лестницам падала в кресло и, зажмурив глаза, тяжело дыша, делала вид, что ее груди тесно и душно. Она была замужем. Ее муж, солидный архитектор, раз в неделю приезжал на дачу, отлично выспался и возвращался назад в город. Странное чувство началось у Володи с того, что он беспричинно возненавидел этого архитектора и радовался всякий раз, когда тот уезжал в город.

Теперь, сидя в беседке и думая о завтрашнем экзамене и о татап, над которой смеются, он чувствовал сильное желание видеть Нюту (так Шумихины называли Анну Федоровну), слышать ее смех, шорох ее платья... Это желание не походило на ту чистую, поэтическую любовь, которая была знакома ему по романам и о которой он мечтал каждый вечер, ложась спать; оно было странно, непонятно, он стыдился его и боялся, как чего-то очень нехорошего и нечистого, в чем тяжело сознаваться перед самим собой...

- Это не любовь, - говорил он себе. - В тридцатилетних и замужних не влюбляются... Это просто маленькая интрижка... Да, интрижка...

Думая об интрижке, он вспоминал про свою непобедимую робость, про отсутствие усов, веснушки, узкие глаза, ставил себя в воображении рядом с Ньютою - и эта пара казалась ему невозможной; тогда спешил он вообразить себя красивым, смелым, остроумным, одетым по самой последней моде...

В самый разгар мечтаний, когда он, сгорбившись и глядя в землю, сидел в темном уголке беседки, послышались легкие шаги. Кто-то не спеша шел по аллее. Скоро шаги затихли и у входа мелькнуло что-то белое.

- Есть здесь кто-нибудь? - спросил женский голос.

Володя узнал этот голос и испуганно поднял голову.

- Кто тут? - спрашивала Нюта, входя в беседку. - Ах, это вы, Володя? Что вы здесь делаете? Думаете? И как это можно всё думать, думать, думать... этак можно с ума сойти!

Володя поднялся и растерянно поглядел на Нюту. Она только что вернулась из купальни. На ее плечах висели простыня и мохнатое полотенце, и из-под белого шелкового платка на голове выглядывали мокрые волосы, прилипшие ко лбу. От нее шел влажный, прохладный запах купальни и миндального мыла. От быстрой ходьбы она запыхалась. Верхняя пуговка ее блузы была расстегнута, так что юноша видел и шею и грудь.

- Что же вы молчите? - спросила Нюта, оглядывая Володю. - Невежливо молчать, когда с вами говорит дама. Какой вы, однако, тюлень, Володя! Вы всё сидите, молчите, думаете, как философ какой-нибудь. В вас совсем нет жизни и огня! Противный вы, право... В ваши годы нужно жить, прыгать, болтать, ухаживать за женщинами, влюбляться.

Володя глядел на простыню, которую поддерживала белая, пухлая рука, и думал...

- Молчит! - удивлялась Нюта. - Это даже странно... Послушайте, будьте мужчиной! Ну, хоть улыбнитесь! Фу, противный философ! - засмеялась она. А знаете, Володя, отчего вы такой тюлень? Оттого, что не ухаживаете за женщинами. Отчего вы не ухаживаете? Правда, здесь барышень нет, но ведь вам ничто не мешает ухаживать за дамами! Отчего вы, например, за мной не ухаживаете?

Володя слушал и в тяжелом, напряженном раздумье почесывал себе висок.

- Молчат и любят уединение только очень гордые люди, - продолжала Нюта, отдергивая его руку от виска. - Вы гордец, Володя. Почему вы глядите исподлобья? Извольте мне глядеть прямо в лицо! Да ну же, тюлень!

Володя решил заговорить. Желая улыбнуться, он задергал нижней губой, замигал глазами и опять потянул руку к виску.

- Я... я люблю вас! - проговорил он.

Нюта удивленно подняла брови и засмеялась.

- Что слышу я?! - запела она, как поют оперные певцы, когда слышат что-нибудь ужасное. - Как? Что вы сказали? Повторите, повторите...

Я... я люблю вас! - повторил Володя.

И уж без всякого участия своей воли, ничего не понимая и не соображая, он сделал полшага к Нюте и взял ее за руку выше кисти. В глазах его помутилось и выступили слезы, весь мир обратился в одно большое, мохнатое полотенце, от которого пахло купальней.

- Bravo, bravo! - услышал он веселый смех. - Что же вы молчите? Мне хочется, чтобы вы говорили! Ну?

Видя, что ему не мешают держать руку, Володя взглянул на смеющееся лицо Нюты и неуклюже, неудобно взял обеими руками ее за талию, причем кисти обеих рук его сошлись на ее спине. Он держал ее обеими руками за талию, а она, закинув на затылок руки и показывая ямочки на локтях, поправляла под платком прическу и говорила покойным голосом:

- Надо, Володя, быть ловким, любезным, милым, а таким можно сделаться под влиянием только женского общества. Однако, какое у вас нехорошее... злое лицо. Надо говорить, смеяться... Да, Володя, не будьте букой, вы молоды и успеете еще нафилософствоваться. Ну, пустите меня, я пойду. Пустите же!

Она без усилия освободила свою талию и, что-то напевая, вышла из беседки. Володя остался один. Он пригладил свои волосы, улыбнулся и раза три прошелся из угла в угол, потом сел на скамью

и улыбнулся еще раз. Ему было невыносимо стыдно, так что даже он удивлялся, что человеческий стыд может достигать такой остроты и силы. От стыда он улыбался, шептал какие-то несвязные слова и жестикулировал.

Ему было стыдно, что с ним только что обошлись, как с мальчиком, стыдно за свою робость, а главное за то, что он осмелился взять порядочную замужнюю женщину за талию, хотя ни по возрасту, ни по своим наружным качествам, ни по общественному положению он, как ему казалось, не имел на это никакого права.

Он вскочил, вышел из беседки и, не оглядываясь, пошел в глубину сада подальше от дома.

"Ах, поскорее бы уехать отсюда! - думал он, хватая себя за голову. Боже, поскорее бы!"

Поезд, на котором должен был ехать Володя с маман, отходил в восемь часов сорок минут. Оставалось до поезда около трех часов, но он с наслаждением ушел бы на станцию сейчас же, не дожидаясь маман.

В восьмом часу он подходил к дому. Вся его фигура изображала решимость: что будет, то будет! Он решился войти смело, глядеть прямо, говорить громко, несмотря ни на что.

Он прошел террасу, большую залу, гостиную и остановился в последней, чтобы перевести дух. Отсюда слышно было, как в соседней столовой пили чай. М-ме Шумихина, маман и Нюта о чем-то говорили и смеялись.

Володя прислушался.

- Уверю вас! - говорила Нюта. - Я своим глазам не верила! Когда он стал объясняться мне в любви и даже, представьте, взял меня за талию, я не узнала его. И знаете, у него есть манера! Когда он сказал, что влюблен в меня, то в лице у него было что-то зверское, как у черкеса.

- Неужели! - ахнула маман, закатываясь протяжным смехом. - Неужели! Как он напоминает мне своего отца!

Володя побежал назад и выскочил на свежий воздух. "И как они могут говорить вслух об этом! - мучился он, всплескивая руками и с ужасом глядя на небо. - Говорят вслух, хладнокровно... И маман смеялась... маман! Боже мой, зачем ты дал мне такую мать? Зачем?"

Но идти в дом нужно было, во что бы то ни стало. Он раза три прошелся по аллее, немного успокоился и вошел в дом.

- Что же вы не приходите вовремя чай пить? - строго спросила m-ме Шумихина.

- Виноват, мне... мне пора ехать, - забормотал он, не поднимая глаз. Маман, уж восемь часов!

- Поезжай сам, мой милый, - сказала томно маман, - я остаюсь ночевать у Лили. Прощай, мой друг... Дай я тебя перекрещу...

Она перекрестила сына и сказала по-французски, обращаясь к Нюте:

- Он немного похож на Лермонтова... Не правда ли?

Кое-как простившись и не взглянув ни на чье лицо, Володя вышел из столовой. Через десять минут он уж шагнул по дороге к станции и был рад этому. Теперь уж ему не было ни страшно, ни стыдно, дышалось легко и свободно.

В полуверсте от станции он сел на камень у дороги и стал глядеть на солнце, которое больше чем наполовину спряталось за насыпь. На станции уж кое-где зажглись огни, замелькал один мутный зеленый огонек, но поезда еще не было видно. Володе приятно было сидеть, не двигаться и прислушиваться к тому, как мало-помалу наступал вечер. Сумрак беседки, шаги, запах купальни, смех

и талия - всё это с поразительной ясностью предстало в его воображении и всё это уж не было так страшно и значительно, как раньше...

"Пустяки... Она не отдернула руку и смеялась, когда я держал ее за талию, - думал он, - значит, ей это нравилось. Если б ей это было противно, то она рассердилась бы..."

И теперь Володе стало досадно, что там, в беседке, у него было недостаточно смелости. Ему стало жаль, что он так глупо уезжает, и уж он был уверен, что если бы тот случай повторился, то он был бы смелее и проще смотрел бы на вещи.

А случаю повториться нетрудно. У Шумихиных после ужина долго гуляют. Если Володя пойдет гулять с Нютой по темному саду, то - вот и случай!

"Вернусь, - думал он, - а уеду завтра с утренним поездом... Скажу, что опоздал к поезду".

И он вернулся... М-ме Шумихина, мама, Нюта и одна из племянниц сидели на террасе и играли в винт. Когда Володя солгал им, что опоздал к поезду, они обеспокоились, как бы он завтра не опоздал к экзамену, и посоветовали ему встать пораньше. Все время, пока они играли в карты, он сидел в стороне, жадно оглядывал Нюту и ждал... В его голове уж готов был план: он подойдет в потемках к Нюте, возьмет ее за руку, потом обнимет; говорить ничего не нужно, так как обоим всё будет понятно без разговоров.

Но после ужина дамы не пошли гулять в сад и продолжали играть в карты. Играли они до часа ночи и потом разошлись спать.

"Как это всё глупо! - досадовал Володя, ложась в постель. - Но ничего, погожу завтрашнего дня... Завтра опять в беседке. Ничего..."

Он не старался уснуть, а сидел в постели, обняв руками колена, и думал. Мысль об экзамене была ему противна. Он уж решил, что его исключат и что в этом исключении нет ничего ужасного. Напротив, всё очень хорошо, даже очень. Завтра он будет свободен, как птица, наденет партикулярное платье, будет курить явно, ездить сюда и ухаживать за Нютой, когда угодно; и уж он будет не гимназистом, а "молодым человеком". А остальное, что называется карьерой и будущим, так ясно: Володя поступит в вольноопределяющиеся, в телеграфисты, наконец, в аптеку, где дослужится до провизора... мало ли должностей? Прошел час-другой, а он всё сидел и думал...

В третьем часу, когда уж светало, дверь осторожно скрипнула и в комнату вошла мама.

- Ты не спишь? - спросила она, зевая. - Спи, спи, я на минутку... Я только капли возьму...

- Зачем вам?

- У бедной Лили опять спазмы. Спи, дитя мое, у тебя завтра экзамен...

Она достала из шкапчика флакон с чем-то, подошла к окну, прочла сигнатурку и вышла.

- Марья Леонтьевна, это не те капли! - услышал через минуту Володя женский голос. - Это ландыш, а Лили просит морфин. Ваш сын спит? Попросите его, чтобы он отыскал...

Это был голос Нюты. Володя похолодел. Он быстро надел брюки, накинул на плечи шинель и пошел к двери.

- Понимаете? Морфин! - объясняла шёпотом Нюта. - Там должно быть написано по-латыни. Разбудите Володю, он найдет...

Мама открыла дверь, и Володя увидел Нюту. Она была в той же самой блузе, в какой ходила купаться. Волосы ее были не причесаны, разбросаны по плечам, лицо заспанное, смуглое от сумерек...

- Вот Володя не спит... - сказала она. - Володя, поищите, голубчик, в шкапе морфин! Наказание с этой Лили... Вечно у нее что-нибудь.

Мамап что-то пробормотала, зевнула и ушла.

- Ищите же, - сказала Нюта. - Что стоите?

Володя пошел к шкафчику, присел на колени и стал перебирать флаконы и коробки с лекарствами. Руки у него дрожали, а в груди и в животе было такое ощущение, как будто по всем его внутренностям бегали холодные волны. От запаха эфира, карболовой кислоты и разных трав, за которые он без всякой надобности хватался дрожащими руками и которые рассыпались от этого, ему было душно и кружилась голова.

"Кажется, мамап ушла, - думал он. - Это хорошо... хорошо..."

- Скоро же? - спросила протяжно Нюта.

- Сейчас... Вот это, кажется, морфин... - сказал Володя, прочитав на одной из сигнатур слово "morph..." - Извольте!

Нюта стояла в дверях так, что одна нога ее была в коридоре, а другая в его комнате. Она поправляла свои волосы, которые трудно было поправить так они были густы и длинны! - и рассеянно глядела на Володю. В просторной блузе, заспанная, с распущенными волосами, при том скудном свете, какой шел в комнату от белого, но еще не освещенного солнцем неба, она показалась Володе обаятельной, роскошной... Очарованный, дрожа всем телом и с наслаждением вспоминая о том, как он обнимал это чудное тело в беседке, он подал ей капли и сказал:

- Какая вы...

- Что?

Она вошла в комнату.

- Что? - спросила она, улыбаясь.

Он молчал и смотрел на нее, потом, как тогда в беседке, взял за руку... А она смотрела на него, улыбалась и ждала: что будет дальше?

- Я вас люблю... - прошептал он.

Она перестала улыбаться, подумала и сказала:

- Погодите, кажется, кто-то идет. Ох, уж эти мне гимназисты! говорила она вполголоса, идя к двери и выглядывая в коридор. - Нет, никого не видно...

Она вернулась...

Затем Володе показалось, что комната, Нюта, рассвет и сам он - всё слилось в одно ощущение острого, необыкновенного, небывалого счастья, за которое можно отдать всю жизнь и пойти на вечную муку, но прошло полминуты, и всё это вдруг исчезло. Володя видел одно только полное, некрасивое лицо, искаженное выражением гадливости, и сам вдруг почувствовал отвращение к тому, что произошло.

- Однако мне нужно уходить, - сказала Нюта, безглаголиво оглядывая Володю. - Какой некрасивый, жалкий... фи, гадкий утенок!

Как теперь Володе казались безобразны ее длинные волосы, просторная блуза, ее шаги, голос!..

"Гадкий утенок... - думал он после того, как она ушла. - В самом деле я гадок... Всё гадко!"

На дворе уж восходило солнце, громко пели птицы; слышно было, как в саду шагал садовник и как скрипела его тачка... А немного погодя послышалось мычанье коров и звуки пастушеской свирели. Солнечный свет и звуки говорили, что где-то на этом свете есть жизнь чистая, изящная, поэтическая. Но где она? О ней никогда не говорили Володе ни татап, ни все те люди, которые окружали его.

Когда лакей будил его к утреннему поезду, он представился спящим...

"Ну его, всё к чёрту!" - думал он.

Встал он с постели в одиннадцатом часу. Причесываясь перед зеркалом и глядя на свое некрасивое, бледное от бессонной ночи лицо, он подумал:

"Совершенно верно... Гадкий утенок".

Когда татап увидела его и ужаснулась, что он не на экзамене, Володя сказал:

- Я проспал, татап... Но вы не беспокойтесь, я представлю медицинское свидетельство.

М-ме Шумихина и Нюта проснулись в первом часу. Володя слышал, как проснувшаяся м-ме Шумихина со звоном открыла у себя окно, как на ее грубый голос ответила Нюта раскатистым смехом. Он видел, как отворилась дверь и из гостиной потянулась к завтраку вереница племянниц и приживалок (в толпе последних была и татап), как замелькало умытое, смеющееся лицо Нюты, а рядом с ее лицом черные брови и борода только что приехавшего архитектора.

Нюта была в малороссийском костюме, который совсем не шел к ней и делал ее неуклюжею; архитектор острил пошло и плоско; в котлетах, что подавали за завтраком, было очень много луку - так казалось Володе. Ему также казалось, что Нюта нарочно громко хохотала и поглядывала в его сторону, чтобы этим дать понять ему, что воспоминание о ночи нисколько не беспокоит ее и что она не замечает присутствия за столом гадкого утенка.

В четвертом часу Володя ехал с татап на станцию. Грязные воспоминания, бессонная ночь, предстоящее исключение из гимназии, угрызения совести - всё это возбуждало в нем теперь тяжелую, мрачную злобу. Он глядел на тощий профиль татап, на ее маленький носик, на ватерпруф, подаренный ей Нютою, и бормотал:

- Зачем вы пудритесь? Это не пристало в ваши годы! Вы наводите на себя красоту, не платите проигрыша, курите чужой табак... противно! Я вас не люблю... не люблю!

Он оскорблял ее, а она испуганно поводила своими глазками, всплескивала ручками и шептала в ужасе:

- Что ты, друг мой? Боже мой, кучер услышит! Замолчи, а то кучер услышит! Ему всё слышно!

- Не люблю... не люблю! - продолжал он, задыхаясь. - Вы безнравственная, бездушная... Не смейте носить этого ватерпруфа! Слышите? А то я изорву его в клочки...

- Опомнись, дитя мое! - заплакала татап. - Кучер услышит!

- А где состояние моего отца? Где ваши деньги? Вы всё промотали! Мне не стыдно своей бедности, но стыдно, что у меня такая мать... Когда мои товарищи спрашивают о вас, я всегда краснею.

На поезде пришлось ехать до города две станции. Всё время Володя стоял на площадке и дрожал всем телом. Ему не хотелось входить в вагон, так как там сидела мать, которую он ненавидел. Ненавидел он самого себя, кондукторов, дым от паровоза, холод, которому приписывал свою дрожь... И чем тяжелее становилось у него на душе, тем сильнее он чувствовал, что где-то на этом свете, у каких-то людей есть жизнь чистая, благородная, теплая, изящная, полная любви, ласк, веселья, раздолья... Он чувствовал это и тосковал так сильно, что даже один пассажир, пристально поглядев ему в лицо, спросил:

- Вероятно, у вас зубы болят?

В городе татап и Володя жили у Марьи Петровны, дамы-дворянки, которая нанимала большую квартиру и от себя сдавала ее жильцам. Матап нанимала две комнаты: в одной, с окнами, где стояла ее кровать и висели на стенах две картины в золотых рамах, жила она сама, а в другой, смежной, маленькой и темной, жил Володя. Тут стоял диван, на котором он спал, и кроме этого дивана не было никакой другой мебели; вся комната была занята плетеными корзинами с платьем, картонками от шляп и всяким хламом, который для чего-то берегла татап. Уроки приготавливал Володя в комнате матери или в "общей" - так называлась большая комната, куда все жильцы сходились во время обеда и по вечерам.

Вернувшись домой, он лег на диван и укрылся одеялом, чтобы унять дрожь. Картонки от шляп, плетенки и хлам напомнили ему, что у него нет своей комнаты, нет приюта, где бы он мог спрятаться от татап, от ее гостей и от голосов, которые доносились теперь из "общей"; ранец и книги, разбросанные по углам, напомнили ему об экзамене, на котором он не был.. Почему-то совсем некстати пришла ему на память Ментона, где он жил со своим покойным отцом, когда был семи лет; припомнились ему Биарриц и две девочки-англичанки, с которыми он бегал по песку... Захотелось возобновить в памяти цвет неба и океана, высоту волн и свое тогдашнее настроение, но это не удалось ему; девочки-англичанки промелькнули в воображении, как живые, всё же остальное смешалось, беспорядочно расплылось...

"Нет, здесь холодно", - подумал Володя, встал, надел шинель и пошел в "общую".

В "общей" пили чай. За самоваром сидели трое: татап, учительница музыки, старушка в черепаховом ринсе-нез и Августин Михайлыч, пожилой, очень толстый француз, служивший на парфюмерной фабрике.

- Я сегодня не обедала, - говорила татап. - Надо бы горничную послать за хлебом.

- Дуняш! - крикнул француз.

Оказалось, что горничную услала куда-то хозяйка.

- О, это ничего не означает, - сказал француз, широко улыбаясь. - Я сейчас сам схожу за хлебом. О, это ничего!

Он положил свою крепкую, вонючую сигару на видное место, надел шляпу и вышел. По уходе его татап стала рассказывать учительнице музыки о том, как она гостила у Шумихиных и как хорошо ее там принимали.

- Ведь Лили Шумихина моя родственница... - говорила она. - Ее покойный муж, генерал Шумихин, приходится кузеном моему мужу. А сама она урожденная баронесса Кольб...

- Матап, это неправда! - сказал раздраженно Володя. - Зачем лгать?

Он знал отлично, что татап говорит правду; в ее рассказе о генерале Шумихине и урожденной баронессе Кольб не было ни одного слова лжи, но тем не менее все-таки он чувствовал, что она лжет. Ложь чувствовалась в ее манере говорить, в выражении лица, во взгляде, во всем.

- Вы лжете! - повторил Володя и ударил кулаком по столу с такой силой, что задрожала вся посуда и у татап расплескался чай. - Для чего вы рассказываете про генералов и баронесс? Всё это ложь!

Учительница музыки растерялась и закашляла в платок, делая вид, что она поперхнулась, а татап заплакала.

"Куда уйти?" - подумал Володя.

На улице он уж был: к товарищам идти стыдно. Опять некстати припомнились ему две девочки-англичанки... Он прошелся из угла в угол по "общей" и вошел в комнату Августина Михайлыча. Тут сильно пахло эфирными маслами и глицериновым мылом. На столе, на окнах и даже на стульях стояло множество флаконов, стаканчиков и рюмок с разноцветными жидкостями. Володя взял со стола газету, развернул ее и прочел заглавие: "Figaro"... Газета издавала какой-то сильный и приятный запах. Потом он взял со стола револьвер...

- Полноте, не обращайтесь внимания! - утешала в соседней комнате учительница музыки татап.
- Он еще так молод! В его годы молодые люди всегда позволяют себе лишнее. С этим надо мириться.

- Нет, Евгения Андреевна, он слишком испорчен! - говорила татап нараспев. - Над ним нет старшего, а я слаба и ничего не могу сделать. Нет, я несчастна!

Володя вложил дуло револьвера в рот, нащупал что-то похожее на курок или собачку и надавил пальцем... Потом нащупал еще какой-то выступ и еще раз надавил. Вынув дуло изо рта, он вытер его о полу шинели, оглядел замок; раньше он никогда в жизни не брал в руки оружия...

- Кажется, это надо поднять... - соображал он. - Да, кажется...

В "общую" вошел Августин Михайлыч и хохоча стал рассказывать о чем-то. Володя опять вложил дуло в рот, сжал его зубами и надавил что-то пальцем. Раздался выстрел... Что-то с страшной силой ударило Володю по затылку, и он упал на стол, лицом прямо в рюмки и во флаконы. Затем он увидел, как его покойный отец в цилиндре с широкой черной лентой, носивший в Ментоне траур по какой-то даме, вдруг охватил его обеими руками и оба они полетели в какую-то очень темную, глубокую пропасть.

Потом всё смешалось и исчезло...

ГОРЕ

Токарь Григорий Петров, издавна известный за великолепного мастера и в то же время за самого непутевого мужика во всей Галчинской волости, везет свою больную старуху в земскую больницу. Нужно ему проехать верст тридцать, а между тем дорога ужасная, с которой не справится казенному почтарю, а не то что такому лежебоке, как токарь Григорий. Прямо навстречу бьет резкий, холодный ветер. В воздухе, куда ни взглянешь, кружатся целые облака снежинок, так что не разберешь, идет ли снег с неба, или с земли. За снежным туманом не видно ни поля, ни телеграфных столбов, ни леса, а когда на Григория налетает особенно сильный порыв ветра, тогда не бывает видно даже дуги. Дряхлая, слабосильная кобылка плетется еле-еле. Вся энергия ее ушла на вытаскивание ног из глубокого снега и подергиванье головой. Токарь торопится. Он беспокойно прыгает на облучке и то и дело хлещет по лошадиной спине.

— Ты, Матрена, не плачь... — бормочет он. — Потерпи малость. В больницу, Бог даст, приедем и мигом у тебя, это самое... Даст тебе Павел Иваныч капелек, или кровь пустить прикажет, или, может, милости его угодно будет спиртиком каким тебя растереть, оно и тово... оттянет от бока. Павел Иваныч постарается... Покричит, ногами потопочет, а уж постарается... Славный господин, обходительный, дай бог ему здоровья... Сейчас, как приедем, перво-наперво выскочит из своей фатеры и начнет чертей перебирать. «Как? Почему такое? — закричит. — Почему не вовремя приехал? Нешто я собака какая, чтоб цельный день с вами, чертями, возиться? Почему утром не приехал? Вон! Чтоб и духу твоего не было. Завтра приезжай!» А я и скажу: «Господин доктор! Павел Иваныч! Ваше высокоблагородие!» Да поезжай же ты, чтоб тебе пусто было, чёрт! Но!

Токарь хлещет по лошаденке и, не глядя на старуху, продолжает бормотать себе под нос:

— «Ваше высокоблагородие! Истинно, как перед Богом... вот вам крест, выехал я чуть свет. Где ж тут к сроку поспеть, ежели Господь... Матерь Божия... прогневался и метель такую послал? Сами изволите видеть... Какая лошадь поблагороднее, и та не выедет, а у меня, сами изволите видеть, не лошадь, а срамота!» А Павел Иваныч нахмурится и закричит: «Знаем вас! Завсегда оправдание найдете! Особливо ты, Гришка! Давно тебя знаю! Небось, раз пять в кабак заезжал!» А я ему: «Ваше высокоблагородие! Да нешто я злодей какой или нехристь? Старуха душу Богу отдает, помирает, а я стану по кабакам бегать! Что вы, помилуйте! Чтоб им пусто было, кабакам этим!» Тогда Павел Иваныч прикажет тебя в больницу снести. А я в ноги... «Павел Иваныч! Ваше высокоблагородие! Благодарим вас всепокорно! Простите нас, дураков, анафемов, не обессудьте нас, мужиков! Нас бы в три шеи надо, а вы изволите беспокоиться, ножки свои в снег марать!» А Павел Иваныч взглянет этак, словно ударить захочет, и скажет: «Чем в ноги-то бухать, ты бы лучше, дурак, водки не лопал да старуху жалел. Пороть тебя надо!» — «Истинно пороть, Павел Иваныч, побей меня Бог, пороть! А как же нам в ноги не кланяться, ежели благодетели вы наши, отцы родные? Ваше высокоблагородие! Верно слово... вот как перед Богом... плюньте тогда в глаза, ежели обману: как только моя Матрена, это самое, выздоровеет, станет на свою настоящую точку, то всё, что соизволите приказать, всё для вашей милости сделаю! Портсигарчик, ежели желаете, из карельской березы... шары для крокета, кегли могу выточить самые заграничные... всё для вас сделаю! Ни копейки с вас не возьму! В Москве бы с вас за такой портсигарчик четыре рубля взяли, а я ни копейки». Доктор засмеется и скажет: «Ну, ладно, ладно... Чувствую! Только жалко, что ты пьяница»... Я, брат старуха, понимаю, как с господами надо. Нет того господина, чтоб я с ним не сумел поговорить. Только привел бы бог с дороги не сбиться. Ишь метет! Все глаза запорошило.

И токарь бормочет без конца. Болтает он языком машинально, чтоб хоть немного заглушить свое тяжелое чувство. Слов на языке много, но мыслей и вопросов в голове еще больше. Горе застало токаря врасплох, нежданно-негаданно, и теперь он никак не может очнуться, прийти в себя, сообразить. Жил доселе безмятежно, ровно, в пьяном полузабытьи, не зная ни горя, ни радостей, и

вдруг чувствует теперь в душе ужасную боль. Беспечный лежебока и пьянчужка очутился ни с того ни с сего в положении человека занятого, озабоченного, спешащего и даже борющегося с природой.

Токарь помнит, что горе началось со вчерашнего вечера. Когда вчера вечером воротился он домой, по обыкновению пьяненьким, и по застарелой привычке начал браниться и махать кулаками, старуха взглянула на своего буяна так, как раньше никогда не глядела. Обыкновенно выражение ее старческих глаз было мученическое, кроткое, как у собак, которых много бьют и плохо кормят, теперь же она глядела сурово и неподвижно, как глядят святые на иконах или умирающие. С этих странных, нехороших глаз и началось горе. Ошалевший токарь выпросил у соседа лошаденку и теперь везет старуху в больницу, в надежде, что Павел Иванович порошками и мазями возвратит старухе ее прежний взгляд.

— Ты же, Матрена, тово... — бормочет он. — Ежели Павел Иванович спросит, бил я тебя или нет, говори: никак нет! А я тебя не буду больше бить. Вот те крест. Да нешто я бил тебя по злобе? Бил так, зря. Я тебя жалею. Другому бы и горя мало, а я вот везу... стараюсь. А метет-то, метет! Господи, Твоя воля! Привел бы только Бог с дороги не сбиться... Что, болит бок? Матрена, что ж ты молчишь? Я тебя спрашиваю: болит бок?

Странно ему кажется, что на лице у старухи не тает снег, странно, что само лицо как-то особенно вытянулось, приняло бледно-серый, грязно-восковой цвет и стало строгим, серьезным.

— Ну и дура! — бормочет токарь. — Я тебе по совести, как перед Богом... а ты, тово... Ну и дура! Возьму вот и не повезу к Павлу Ивановичу!

Токарь опускает вожжи и задумывается. Оглянуться на старуху он не решается: страшно! Задать ей вопрос и не получить ответа тоже страшно. Наконец, чтоб покончить с неизвестностью, он, не оглядываясь на старуху, нащупывает ее холодную руку. Поднятая рука падает как плеть.

— Померла, стало быть! Комиссия!

И токарь плачет. Ему не так жалко, как досадно. Он думает: как на этом свете всё быстро делается! Не успело еще начаться его горе, как уж готова развязка. Не успел он пожить со старухой, высказать ей, пожалеть ее, как она уже умерла. Жил он с нею сорок лет, но ведь эти сорок лет прошли, словно в тумане. За пьянством, драками и нуждой не чувствовалась жизнь. И, как на зло, старуха умерла как раз в то самое время, когда он почувствовал, что жалеет ее, жить без нее не может, страшно виноват перед ней.

— А ведь она по миру ходила! — вспоминает он. — Сам я посылал ее хлеба у людей просить, комиссия! Ей бы, дуре, еще лет десяток прожить, а то, небось, думает, что я и взаправду такой. Мать Пресвятая, да куда же к лешему я это еду? Теперь не лечить надо, а хоронить. Поворачивай!

Токарь поворачивает назад и изо всей силы бьет по лошадке. Путь с каждым часом становится всё хуже и хуже. Теперь уже дуги совсем не видно. Изредка сани наедут на молодую елку, темный предмет оцарапает руки токаря, мелькнет перед его глазами, и поле зрения опять становится белым, кружащимся.

«Жить бы сызнова»... — думает токарь.

Вспоминает он, что Матрена лет сорок тому назад была молодой, красивой, веселой, из богатого двора. Выдали ее за него замуж потому, что польстились на его мастерство. Все данные были для хорошего житья, но беда в том, что он как напился после свадьбы, завалился на печку, так словно и до сих пор не просыпался. Свадьбу он помнит, а что было после свадьбы — хоть убей, ничего не помнит, кроме разве того, что пил, лежал, дрался. Так и пропали сорок лет.

Белые снежные облака начинают мало-помалу сереть. Наступают сумерки.

— Куда ж я еду? — спохватывается вдруг токарь. — Хоронить надо, а я в больницу... Ошалел словно!

Токарь опять поворачивает назад и опять бьет по лошади. Кобылка напрягает все свои силы и фыркая, бежит мелкой рысцей. Токарь раз за разом хлещет ее по спине... Сзади слышится какой-то стук, и он, хоть не оглядывается, но знает, что это стучит голова покойницы о сани. А воздух всё темнеет и темнеет, ветер становится холоднее и резче...

«Сызнова бы жить... — думает токарь. — Инструмент бы новый завести, заказы брать... деньги бы старухе отдавать... да!»

И вот он роняет вожжи. Ищет их, хочет поднять и никак не поднимет; руки не действуют...

«Всё равно... — думает он, — сама лошадь пойдет, знает дорогу. Поспать бы теперь... Покуда там похороны или панихида, прилечь бы».

Токарь закрывает глаза и дремлет. Немного погодя, он слышит, что лошадь остановилась. Он открывает глаза и видит перед собой что-то темное, похожее на избу или скирду...

Ему бы вылезти из саней и узнать, в чем дело, но во всем теле стоит такая лень, что лучше замерзнуть, чем двинуться с места... И он безмятежно засыпает.

Просыпается он в большой комнате с крашеными стенами. Из окон льет яркий солнечный день. Токарь видит перед собой людей и первым делом хочет показать себя степенным, с понятием.

— Панихидку бы, братцы, по старухе! — говорит он. — Батюшке бы сказать...

— Ну, ладно, ладно! Лежи уж! — обрывает его чей-то голос.

— Батюшка! Павел Иваныч! — удивляется токарь, видя перед собой доктора. — Вашескородие! Благодетель!

Хочет он вскочить и бухнуть перед медициной в ноги, но чувствует, что руки и ноги его не слушаются.

— Ваше высокородие! Ноги же мои где? Где руки?

— Прощайся с руками и ногами... Отморозил! Ну, ну... чего же ты плачешь? Пожил, и слава Богу! Небось, шесть десятков прожил — будет с тебя!

— Горе!.. Вашескородие, горе ведь! Простите великодушно! Еще бы годочков пять-шесть...

— Зачем?

— Лошадь-то чужая, отдать надо... Старуху хоронить... И как на этом свете всё скоро делается! Ваше высокородие! Павел Иваныч! Портсигарчик из карельской березы наилучший! Крокетик выточу...

Доктор машет рукой и выходит из палаты. Токарю — аминь!